

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



**ОГОНЁК**

№ 43

1988



**Юрий ЯКОВЛЕВ**

М О С К В А  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«П Р А В Д А»

Г Д Е Ц В Е Т Е Т  
Г В О З Д И К А



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 43

Юрий ЯКОВЛЕВ

# ГДЕ ЦВЕТЕТ ГВОЗДИКА

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1988

## Юрий ЯКОВЛЕВ

*Известный детский писатель, прозаик и поэт, драматург и киносценарист, публицист — вот широкий круг творческого многообразия Юрия Яковлевича Яковлева. Но при этом удивительная целеустремленность всего творчества писателя: дети, войны, четвероногие друзья — вот его любимые герои.*

*И биография писателя — биография целого поколения. Родился в 1922 году в Ленинграде, потом школа, потом фронт, потом Литературный институт им. А. М. Горького.*

*Даже в самые сложные периоды нашей истории Юрий Яковлев оставался верен своим принципам, своей нравственной позиции. Его рассказы «Мальчик с коньками», «Собирающий облака», «Рыцарь Вася», «Он убил мою собаку», «Багульник», «А Воробьев стекло не выбивал» и многие другие — резкий протест против несправедливости, жестокости, лжи.*

*Избранные произведения Ю. Яковлева выходили в двух томах, в «Золотой библиотеке», вошли в издание «Всемирной библиотеки для детей».*

*Целый ряд произведений писателя перешел из книг на экран — «Зимородок», «Лев ушел из дома», «Умка», «Был настоящим трубачом», «Мы смерти смотрели в лицо», «Красавица»...*

*Интересна последняя работа писателя — «Саманта» — это фантазия-быль посвящена маленькой американке Саманте Смит. Книга пришла по сердцу нашим детям и вызвала к жизни целое интернациональное движение.*

*Юрий Яковлев — создатель и руководитель Проекта «Саманта», вице-президент ассоциации «Мир детям мира». Он награжден орденами «Трудового Красного Знамени» и «Отечественной войны» II степени.*

*Юрий Яковлев — лауреат Государственной премии СССР*

## ВЕЧЕРИНКА

И решено было устроить в школе учительскую вечеринку.

Условились, в каком классе расставить столы, какой класс освободить для танцев, если, конечно, найдутся желающие танцевать. Объявились добровольцы печь пироги, делать салаты, варить картошку. Кто-то вызвался принести из дома самовар. А учитель химии — кто бы мог подумать! — оказался гитаристом и клятвенно обещал прийти с гитарой. Словом, все шло на лад, если бы не маленькая загвоздка: некоторых смущало само слово «вечеринка». Говорили, что это слово мещанское, что отдаст оно кабаком. Спору не было бы конца, если бы не вмешался сам Прокоп.

Старейший учитель школы Прокопий Андреевич, которого все поколения учеников и коллег за глаза называли Прокопом, был человеком несуетливым и рассудительным. В разгар спора, когда решалась судьба веселого слова «вечеринка», Прокоп, ни к кому не обращаясь, произнес:

— Во времена моей юности такие вечера назывались «спайкой» или «смычкой». Каждому выдавался стакан чаю, пайка ноздреватого хлеба и бьющая в нос сельдь в ржавых доспехах.

В учительской воцарилось неловкое молчание. Тогда Прокоп повернулся к товарищам, посмотрел на них исподлобья и сказал:

— Чтобы вас не терзали сомнения, обратимся к Далю.

Через минуту он уже стоял посреди комнаты с внушительным томом толкового словаря в руках.

— Итак, по Далю, «вечеринка» — название вечерних сборищ, собраний, пиров. — Прокоп обвел товарищей насмешливым взглядом и продолжал: — Если не подходит, есть еще один вариант: «вечерница — вечернее собрание девок под предлогом чески льна, пряжения, куда приходят холостые парни, просиживая ночь напролет». Если заменить ческу льна проверкой тетрадей, то это вполне подходящий вариант. Правда, с холостыми парнями дело у нас обстоит худо.

Выступление Прокопа принесло желанную разрядку. Все заулыбалось, и доброе русское слово «вечеринка» перестало отдавать кабаком.

Наступил назначенный день. Школа опустела, как пустеет перрон после отхода поезда. На каком поезде, в какую сторону умчались обита-

тели школы? Стало непривычно тихо. Только в длинном коридоре еще сохранялся отголосок ребячьего гула, как в пустой раковине шум моря.

Вечеринка началась не с музыки и не с заздравной чаши — с хлопая дверей и со скрежета передвигаемой мебели. Мужская половина поспешно, как при пожаре, выносила из классов парты и строила из них в коридоре длинную скрипучую баррикаду. Тем часом женская половина занималась столом.

«Первоклассница» Зиночка расставляла тарелки. Белые диски легко слетали с ее руки и бесшумно приземлялись в том месте, куда их посылая молодая учительница.

— Как у вас ловко получается, — восхищалась Зиночкой Анна Ивановна, завуч, женщина пожилая, но с правильными красивыми чертами лица и темными живыми глазами.

— Я три года была подавальщицей, — смущенно призналась Зиночка. — Училась в институте и работала в столовой.

Все диски были разбросаны, и в руках молодой учительницы уже, как пойманные, трепетали ножи и вилки.

А в это время в большом тазу под руками «англичанки» Нины Ильичны занималась свекольная заря винегрета. Большой клетчатый фартук и ложка, забрызганная майонезом, нарушили строгий облик сухохвотой «англичанки», и в ней появилось что-то домашнее, располагающее, чего товарищи по работе никогда не предполагали раньше.

Неожиданным для всех было и то, что в старом Прокопе, оказывається, пропадад великий мастер разделять селедку. Он снял пиджак — «Надеюсь, дамы простят меня!» — закатал рукава сорочки и вооружился ножом. Он не резал селедку на вульгарные ломтики, а рассекал надвое и заливал соусом, похожим на крем.

Анна Ивановна резала пирог, который сверкал, как лакированный, и под ножом дышал утробным вулканическим жаром.

Постепенно класс заполнялся целым сонмом аппетитных ароматов, которые без труда вытеснили привычные запахи мела, мастики, пота. И голоса, зазвучавшие в этих стенах, тоже были непривычными, из ряда вон выходящими. Вместо осмысленного толкования, в каких случаях следует писать «чик», а в каких «чек», Зиночкин звонкий голосок с тревогой сообщал:

— У нас не хватает двух рюмок.

— Готов пить из вашей туфельки, — галантно предлагал химик.

— У меня тридцать восьмой номер, — сокрушалась Зиночка.

И тут за ее спиной безмолвно вырастала атлетическая фигура учителя физкультуры, и под его тяжелым взглядом химик отступал.

Люди, привыкшие видеть друг друга в строгой школьной обстановке, испытывали освежающее удивление от неожиданной перемены. Словно все увидели паровоз, который свернул с привычных рельсов, покати́л по проселку, а потом переехал вброд речку, и с его колес стекает вода и свисает зеленая тина.

Скоро ли начнется вечеринка? Да она уже началась с того момента, как люди напрочь выкинули из головы слова: успеваемость, экзамены, педсовет...

Веселье началось не сразу. Оно входило в свои права, разгоралось медленно. Сперва появилась какая-то непринужденность, легкость, общее прекрасное расположение духа. Привыкшие говорить тихо — заговорили громко, сдержанные — зажестичулировали руками, серьезные — засмеялись. И постепенно классная комната наполнилась гулом голосов и взрывами смеха. Пропало разделение между говорящими и слушающими — говорили все сразу. Каждый подбрасывал ветку в поющий костер веселья. Какие-то неведомые лучи высветили в немолодых людях мальчишек и девчонок, которые, оказывается, не затерялись в пути, а прошли с ними через всю жизнь.

В седой красивой Анне Ивановне ожила голубоглазая Аннушка Еремина, за которой вечно тянулся хвост мальчишек, а она хоть и делала вид, что не замечает этого хвоста, но в глубине души гордилась. Прокофий Андреевич превратился в этакое упрямого малого, из тех, что если упрутся, то будут молчать, а на спор могут полезть в прорубь. Нина Ильинична вдруг залилась дробным, раскатистым смехом, и все почувствовали в ней бывшую веселую хохотушку: стоит соседу по парте показать палец — и она смеется. Что же касается «химика», то из него буквально вырвался маленький дичок — цыганенок. А Фокина в детстве сидела, поджав губы, и ябедничала, а дома из буфета таскала конфеты. Она и теперь улыбается сдержанно, как будто скупа, а за улыбку следует платить.

Зиночка и ее атлетический телохранитель так недалеко отъехали от станции «Детство», что в них труднее разгадать взрослых, чем ребят.

Впервые за долгое время собрались одни учителя, на одну ночь, и стали полновластными хозяевами школы. Ах, какая великолепная легкость охватила их, как они раскраснелись, как помолодели, забыв о заботах и хворях.

Нина Ильинична, смущаясь как первоклассница, пела романс «Я встретил вас». Анна Ивановна кружилась в вальсе. Прокоп танцевал мазурку. А могучий телохранитель Зиновки не пел и не танцевал, хотя в компании был самым молодым.

Устав от танцев, снова возвращались к столу. Беседовали.

— Иногда учитель как осядет в одной школе, так на всю жизнь, — задумчиво говорил Прокоп. — Но случается, он долго не может найти нужного его сердцу пристанища, странствует по городам и весям, как провинциальный актер. Чего он ищет? Денег? Славы? Ни того, ни другого на учительском поприще не найдешь... Бродячий человек ищет либо себя, либо хочет уйти от самого себя подальше. Вот вы, Фокина, много странствовали?

Прокоп повернулся к Фокиной и замер в полупоклоне.

— Я не странствовала. Я только один раз...— ответила, запинаясь, Фокина, и ее лоб от смущения стал пунцовым в крапинку.

— Я знаю причину,— таинственно сказал Прокоп.

— Не знаете,— отрезала Фокина.

— Хотите, отгадаю? — Прокоп лукаво подмигнул товарищам и устался на Фокину, как бы изображая медиума.— Несчастливая любовь!

Сам не ожидая того, он попал в цель. Фокина заволновалась, хотела возразить, но запнулась и глухо пробормотала:

— Я вам такого не говорила.

— Верно,— согласился Прокоп.— Не говорила. Но ведь я не соврал. Скажите, Фокина, не соврал?

Фокина стала проворно есть винегрет. Но когда подняла глаза, то увидела, что все смотрят на нее выжидательно. И поняла: от этой компании так просто не отделаешься. Надо было платить дань. И она стала рассказывать:

— Он был пожарным добровольной пожарной охраны. Но любил он другую. Я хотела уехать. Только у меня на руках была мать-старуха. Куда с ней двинешься?.. Потом у меня в классе сын этого пожарного учился. Очень был похож на отца. Когда мать моя умерла, я все-таки уехала.

Она замолчала и испуганно огляделась: боясь, что кто-нибудь засмеется. Но никто не засмеялся. Только Зиночка спросила:

— Он был красивым, ваш пожарный?

Фокина недовольно посмотрела на молодую учительницу и сказала:

— Он был высоким... Я вообще люблю высоких.

Больше она не сказала ни слова. И некоторое время испытывала муки раскаяния за свою неожиданную откровенность. Но постепенно раскаяние сменилось облегчением. Чувство к пожарному, неразделенное и заглушенное, жило в ней каким-то зыбким, сиротливым комочком. Здесь, среди товарищей, оно впервые оттаяло, и никто не оскорбил его, не обидел.

Неожиданное признание Фокиной проложило теплую дорожку к сердцам гостей вечеринки. И каждый почувствовал потребность поделиться своими тревогами и горестями. И эти рассказы были такими же неожиданными, как признание Фокиной.

Дошла очередь и до Прокопа.

— Разные разности происходят на свете,— сказал он и посмотрел на товарищей.— Знаете ли вы, например, как умирают лайки?.. Когда старая лайка почувствует, что силы ей изменили и она не может наравне с остальными собаками бежать в упряжке, она идет умирать на лед... Не просит милосердия. Не вымаливает горсть сухой юшки. Она идет умирать мужественно и гордо. И не гудят корабли. И люди не провожают ее, сняв с головы шапки. А ведь лайки возили людей и, когда было невозможно везти, окружали человека кольцом и делились с ним своим



собачьим теплом. Они были настоящими друзьями. Незаменимыми. Важными, как жизнь и смерть.

В классной комнате установилась глубокая тишина. И хотя никто не понимал, почему старый Прокоп заговорил о лайках, все слушали с напряженным вниманием, а он сидел, подперев подбородок двумя кулаками, и рассказывал:

— Весной, когда стает снег, на прибрежной кромке льда взгляду человека откроются замерзшие тушки собак. Их никто не хоронит. Только спустя время льды тронутся и поплывут, как лафеты, с мертвыми собаками. Где-то вдали от берега прах опустится на дно и будет лежать там на подводном погосте... Эх, друзья дорогие, когда мне бывает трудно, я вспоминаю о лайках. Я переживаю их смерть. И стараюсь обрести силу собаки, идущей на смерть... Будете старыми — поймете!

Последние слова Прокоп произнес тихо, но в них прозвучало предчувствие какой-то тяжелой истории. И веселый огонь вечеринки начал было слабеть и потух бы совсем, если бы не «химик». Он вовремя потянулся к гитаре, взял аккорд, его брови стародавчески сошлись над переносицей, и он запел:

Если жизнь не мила вам, друзья,  
Если сердце терзает сомненье,  
Все рассеет здесь песня моя,  
В ней тоски и печали забвенья.

Было непонятно — поет ли он серьезно, или слова старинного цыганского романса забавляют его, и он куражится над ними.

Я спою вам, друзья, про любовь,  
Всех страданий виновницу злую,  
Каждый вспомнит свою дорожку,  
И сильней забудлит ваша кровь...

«Химик» вдруг перестал играть и воскликнул:

— Я поднимаю бокал за любовь!

Кто-то засмеялся, кто-то захлопал в ладоши. Фокина густо покраснела: она решила, что «химик» намекает на ее пожарного.

И тогда поднялся старый Прокоп.

— Предлагается тост за любовь, если я не ослышался? И никто не поддержал его. Неужели среди нашего братства нет места любви? Или это слово не всем понятно, и мне придется идти в учительскую за Далем?

Тут Прокоп обвел взглядом товарищей, и все заметили, что, несмотря на годы, он держится очень прямо, а глаза, смотрящие из глубины, светятся зеленоватым огнем.

— Я хочу вам рассказать о своей любви. Что вы удивляетесь?! Думаете, старый Прокоп не знал ничего, кроме земноводных и водоплавающих? Знал! Был влюблен. И, может быть, по сей день где-то здесь, — он ткнул себя пальцем в грудь, — дотлевают последние угольки моей первой любви.

Он отпил из рюмки и аккуратно поставил ее перед собой на стол.  
— Мы, учителя, особая каста. Иногда уважаемая, иногда отверженная. И люди порой предъявляют к нам те же требования, что и к монахам. Разве мы монахи? Мы — земные. А меня судили, как монаха. И, как монаха-отступника, объявили еретиком и отлучили от храма. Выгнали из школы. И все это произошло потому, что я нарушил неписанный устав: влюбился в свою ученицу.

— Ой-ей-ей! — вырвалось у Фокиной.

— Ой-ей-ей! — в лад ей повторил Прокоп. — Правильно, Фокина! Правильно, голубушка! Безнравственно! — Тут он замолчал и как бы с сочувствием посмотрел на пунцовую Фокину. И уже тихо, совсем на другой ноте, закончил: — Безнравственно, если старый Прокоп, как Мазепа, восплачет страстью к девчонке. Но тому, далекому Прокопу, едва перевалило за двадцать, а предмету его любви было восемнадцать. Торжественно заверяю вас, что влюбился он не намеренно, без злого умысла. Увидел ее и забыл про монастырский устав...

Прокоп приложил руку ко лбу, словно хотел надвинуть на глаза богатырский шлем. Вздыхнул и продолжал свой рассказ:

— Помню, иду по деревне и вижу: стоит незнакомая девчонка посреди дороги и моет коленки в луже. Длинные косы соскользнули с плеч, и кончики их мокнут в луже, а она не замечает. Трет коленки. Они от холодной воды покраснели.

Мне почему-то смешно стало, и я окликнул девчонку:

«Здравствуй!»

Она резко распрямилась и повернулась ко мне:

«Здравствуй».

Руками прикрывает коленки и смотрит на меня большими светлыми-серыми глазами. И не поймешь по глазам, сердится ли она на меня, или смущена моим внезапным появлением. Потом она скрестила руки на груди и прижала ладони к голым плечам, словно хотела закрыть их от моего взгляда.

«Что ты стоишь? — говорит. — Иди».

«Хорошо, — отвечаю я, — пойду. Ты приезжая?»

«Тебе какое дело? С Байкала я!..»

А сама смотрит мне в глаза, и я не могу оторвать от них взгляда. И вдруг чувствую, что не вижу ничего, кроме ее глаз... Бывают у людей безжизненные глаза, а эти были наполнены таинственной, напряженной жизнью. И так меня потянуло к жизни ее глаз, к их тайным радостям и печалям!.. Я шагнул к ней, она повернулась и побежала. Один раз оглянулась — и скрылась в палисаднике. А в сентябре прихожу на урок — девчонка с Байкала сидит на второй парте у окна...

Он вошел в раж, старый Прокоп. Никогда еще рядом с ним не собиралось столько людей, которых он понимал, которых любил каждого по-своему. Кому, как не им, доверить свою исповедь! И он рассказывал, а они слушали его с любопытством и удивлением.

— Каждый раз, ложась спать, я думал о ней в надежде, что она приснится мне Нет, не снилась. Вот ведь какое обидное дело... Только один раз приснилась. Такой получился сон странный. С пирожками. Мне приснилось, что она идет по классу с подносом, а на подносе пирожки с капустой. И каждому достается пирожок. Все молча берут и едят. Когда же она подошла ко мне — на подносе ни одного пирожка. Не достался мне пирожок, и ей тоже. Вокруг все едят пирожки так аппетитно, а она стоит передо мной с пустым подносом. И как бы спрашивает: что делать? И глаза у нее виноватые: извините, уж так получилось — не хватило вам пирожка. Я как-то глупо улыбаюсь: мол, ничего страшного, обойдусь. А самому ужасно обидно. Так обидно, что к горлу подступает горечь. Вот-вот заплачу, как маленький. И заплакал. Я плачу, а все едят. Тогда она говорит: «Вы не плачьте, я вам испеку пирог. Большой и вкусный». — «Не надо мне большого, мне бы маленький... пирожок. Мне сейчас надо, а потом будет поздно».

После этого мне стало казаться, что она проникла в мою тайну. Знает об этом сне, участвовала в нем. И глаза у нее стали виноватыми: извините, уж так получилось.

Уж так получилось! Раньше я очень любил длинные дни, когда по часам вечер, а все вокруг залито светом. Теперь я стал любить ранние сумерки. Темные вечера были нашими друзьями: укрывали нас, когда мы шли вдвоем по скрипящим морозным улицам. Я и в темноте видел ее глаза, чувствовал их жизнь. И замечал, что она, эта жизнь, становится все радостней и труднее. Какое-то тревожное предчувствие появилось в ее глазах, но я старался не замечать его.

О чем мы говорили? Да о разных разностях. Я, например, рассказывал ей о странствующих голубях. Они водились в Северной Америке в прошлом веке. Летали не стаями, а целыми тучами. Их американцы уничтожали чем попало — ружьями, палками, камнями. Целыми городами выходили на эту разбойную охоту. Лавочники, клерки, полицейские, поэты, изобретатели шестеренок — все бежали и били, били, били... И дошло дело до того, что на земле не осталось ни одного странствующего голубя. Уничтожили целый вид! Помню, она очень жалела странствующих голубей. О любви мы никогда не говорили. Да нужно ли вообще говорить о любви? Разве говорят о том, что ходят по земле, дышат воздухом...

Прокоп опустил глаза. Умолк. Потом тихо, каким-то чужим голосом сказал:

— Однажды мы совершили ошибку: вышли из темной улочки на светлую. И там нас увидели вместе.

— Ай-яй-яй! — вдруг выдохнула Фокина.

У нее это получилось помимо ее воли. Она даже сама испугалась своего «ай-яй-яй» и поспешно поднесла ко рту руку с салфеткой. Но Прокоп услышал. Повернулся к Фокиной всем корпусом. Даже слегка наклонился к ней.

— Правильно, Фокина! Верно, голубушка! Нельзя выходить на свет, если любовь. Но мы забылись. Потеряли голову. Всем парням и девкам разрешается ходить обнявшись. Нам нельзя было... И пошла молва по городам и весям: учитель Седов крутит любовь со своей ученицей!

И он засмеялся жестким смехом, похожим на плач.

— Что же было дальше? — тихо прошептала Зиночка.

— Расскажите, Прокопий Андреевич, — стали просить остальные.

А Прокоп все хмурился и молчал.

— Я вам лучше про собак расскажу, — сказал он.

— Не надо про собак! Нам про любовь, — настаивал «химик», поводя озорными цыганскими глазами.

— Про собак, между прочим, тоже интересно, — вздохнул Прокоп, и в это мгновение со стороны окна донесся тонкий детский голосок:

— Про собак интересней!

Все оглянулись и увидели мальчишку. Не всего мальчишку, а круглую ушастую голову и подбородок, прижавшийся к подоконнику. Глаза мальчика были широко раскрыты, и в них горело яростное любопытство. Он наблюдал за происходящим в классе, и то, что видел, и слышал, было таким необычным, что сковало его, как действие гипноза.

Зина поднялась со стула, сокрушенно воскликнула:

— Пряхин! — и устремила к окну.

Пряхин не шелохнулся.

— Ты что здесь делаешь?

— Смотрю.

— Не смотришь, а подсматриваешь, — сказала Зина, — а подсматривать за взрослыми отвратительно.

— Отвратительно? — переспросил мальчик, все еще не приходя в себя.

— Ты давно подсматриваешь? — спросила Зина.

— С самого начала.

— С самого начала! Немедленно отправляйся домой. Тебе здесь нечего делать.

— Так интересно же, — пояснил мальчик.

— Что ты слышал?

— Как песни пели... слышал. А когда говорили, было плохо слышно. Но про собак я слышал.

Мальчишке не хотелось уходить. Сейчас, глядя в окно школы, он сделал удивительное открытие. Оказывается, учителя могут петь, смеяться, есть винегрет, как все обычные люди. Но от этого они не упали в его глазах, напротив, приобрели новые любопытные качества и стали ближе.

К окну подошел «химик».

— Хочешь бутерброд? — спросил он мальчика.

— Я сытый.

— Тогда давай отсюда. Одна нога здесь, другая дома. Понял?

— Понял, — ответил мальчик, но с места не тронулся.

Пришлось в дело вступить Прокопу. Он подошел к окну и строго — он умел это делать — глянул на маленького нарушителя спокойствия.

— Ты знаешь кто я? — спросил он мальчика.

— Прокоп! — выпалил первоклассник.

— Правильно. А тебя как звать?

— Я Шурик.

— Так говоришь — про собак интересней?

— Интересней.

— Расскажу... в другой раз. А теперь, брат, дуй отсюда. Договорились?

— Договорились!

Подбородок отклеился от подоконника. И мальчик растворился во тьме летней ночи.

— Мне нравится этот ушастый Шурик, — сказал Прокоп, тяжело опускаясь на стул. — Я люблю, когда во взрослом можно разглядеть ребенка, а в ребенке просматривается взрослый. И никакой мути! Кстати, у кого учится этот Шурик?

— У Зиночки, — сказала тихо Анна Ивановна.

Зиночка молчала, не зная, краснеть ей за своего ученика или гордиться им. И тут, словно отвечая ее мыслям, старый учитель сказал:

— Мы часто допускаем ошибку: воспитываем в детях себе подобных. А надо воспитывать их такими, какими мы сами мечтали стать, да вот не вышло... Надо, чтобы этот Шурик не стоял, понунив голову перед малиновой скатертью, как молодой Прокоп. А рванул бы ее на себя и крикнул бы в лицо судье и подсудков: «Что вы из знамени скатерть сделали? Да еще чернильных пятен наставили!..» Сперва мне, как Галилею, говорили: «Отрекись!». Я твердил им: «А все-таки она вертится. Люблю!» Мне в ответ: «Не должна она вертеться. Не имеет право учитель влюбляться в ученицу. Если все учителя влюбятся в своих учениц...» Тогда я стал просить их: «Вы хоть ее пожалейте!» Ничего не пожалели черные монахи. «Мы, — говорят, — за тебя перед роно отвечать не будем!»

В окне уже давно не было круглой ушастой головы, но все учителя время от времени посматривали в сторону окна, как бы опасаясь, что маленький хитрец затаился где-нибудь внизу и появится снова.

— Что же было дальше, Прокопий Андреевич? — спрашивали со всех сторон, когда старый учитель умолкал и погружался в свои мысли.

— Дальше был длинный стол, покрытый малиновым сукном с кляксами. За этим столом сидели мои товарищи. И никто не мог поднять глаз, потому что тайне сочувствовали мне. И никто не поднялся над малиновой скатертью и не сказал: «Товарищи, что вы делаете? Разве можно судить любовь, как преступление? Разве у вас есть моральное, нравственное право судить?»

Все молчали. Все подняли руки: проголосовали за отлучение от храма. Руки поднять легко — глаза поднять трудно. А ведь судил меня один человек, остальные подсуживали. У того человека была язва желудка, и жена его поколачивала. И ему надо было выпустить злобу, как паровоз выпускает лишние пары. Он ее и выпустил на мою любовь.

Уже давно перевалило за полночь, а вечеринка еще теплилась, и нет-нет в золе оживал уголек. Никто не хотел расходиться. Мир несчастной любви Прокопа, который долгое время был скрыт от каждого, вырвался наружу, сблизил людей, и всем хотелось еще побыть вместе.

— Где она теперь? — вдруг спросила Зиночка.

— Далеко, — не поднимая головы, ответил Прокоп.

— Сколько километров?

Этот, почти детский вопрос молодой учительницы, заставил Прокопа встрепенуться. Он поднялся, подошел к окну и, не поворачиваясь к собранию, сказал:

— Она не пережила позора, которым заклеили нашу любовь... И побрела любовь на лед... И легла, свернувшись калачиком. И не гудели корабли, и люди не провожали ее, стянув с головы шапки. Все было так, как будто ничего не произошло. А она уже лежала на льду, мужественная и гордая. И засыпала навсегда. Холодные ветры пролетали через нее и заметали сухой снежной крупой... А вы говорите — при чем тут лайки? Так поднимем чашу за любовь!

Но никто не поднял чашу. Прокоп медленно вернулся к столу и выпил свою один.

Было уже совсем светло, когда вечеринка кончилась и все разошлись по домам. В школе остались только Зиночка и ее атлетический телохранитель. Они стали расставлять по местам парты. В открытые настежь окна хлынула сырая свежесть рождающегося утра, и запах парной земли вытеснил из классной комнаты недозволенный запах табачного дыма. Парты поскрипывали и послушно вставали на свои места. Вот уже выстроился первый ряд, второй... А молодые люди все носили и носили эти древние деревянные станочки, на которых из человечка делают человека. Класс был залит светом, и только доска чернела как огромное окно в ночь.

Неожиданно Зина остановилась и села за парту.

— Ты что? — спросил физрук.

Зина молчала.

— Ну что ты?

В его голосе звучала озабоченность.

— Лаек жалко, — прошептала девушка.

До него не сразу дошел смысл ее слов.

— Они молодцы, эти лайки, — наконец сказал учитель физкультуры. — Не желают унижаться. Состарились и пошли на лед.

— Состарились, — сказала Зиночка. — А любовь Прокопа была совсем молодой. И пошла на лед... умирать.

— Она тоже была гордой.

— Она была душой... эта девчонка-старшеклассница. Она должна была уйти с Прокопом...

— Ты хорошо рассуждаешь, Зиночка. А я тебя зову, зову... Почему ты не идешь?

Зиночка поднялась из-за парты, положила ему руки на плечи и заглянула в глаза.

— Не грусти,— сказала она тихо.— Ты еще молодой, зачем тебе грустить. Прокопу можно. А тебе ни к чему... Хорошая была вечеринка, правда?

И тут молодые люди почувствовали присутствие постороннего и, не сговариваясь, оглянулись. В окне виднелась лопоухая голова, которая подбородком опиралась на подоконник и наблюдала за происходящим.

Это был все тот же Шурик.

— Ты что здесь делаешь?

— Ничего,— ответил Шурик.

— Ты спать не ходил? — испуганно спросила молодая учительница.

— Ходил... Уже выспался,— ответил Шурик.— Мне жалко лайку. Я бы взял к себе старую собаку.

## ГДЕ ЦВЕТЕТ ГВОЗДИКА

Хорошо спится, когда под боком море. Сырой ветер дышит в щеку йодистым духом водорослей, а голоса корабельных сирен прорываются из яви в сон... На волнах прыгает посудина с полосатым парусом. Я сижу на узкой, отполированной штанами банке, а напротив меня, зажав под мышкой румпель, сутулится горбоносый грек с глиняным лицом, с черными слюдянистыми глазами, которые поблескивают недобрый корсарским огоньком. Он и впрямь похож на корсара, только на голове у него вместо фески просторная, напозакушенная на уши форменная фуражка ресторанного швейцара с широким золотым галуном. Козырек треснут, парусиновый чехол стоит колом, грек поправляет фуражку, шевелит губами и выдавливает из-под усов глухое слово:

— Пожал-те! Пожал-те!

Куда «пожал-те»? Зачем «пожал-те»? Корму подбрасывает вверх, я проваливаюсь, а старый грек взлетает надо мной клювастым коршуном. Но в следующее мгновение он проваливается, а я парю над ним, крепко вцепившись руками в банку. И мы с ним как бы качаемся на челях...

Я просыпаюсь и никак не могу разобраться, где земля, где море, и при чем здесь подушка. Безграничность стихии наполняет меня легко-

стью. Лежу с полуоткрытыми глазами и вижу только тонкую корочку майского полумесяца.

Потом я встаю с постели и босиком подхожу к окну. В невидимой листве фосфорятся белые пирамидки каштановых соцветий. Ветер перехватывает дыхание. На меня обрушиваются звуки бессонного порта: скрип лебедок, грохот цепей, окрики мегафонов. Мир становится реальным и устойчивым. Но легкость, дарованная приморской ночью, не проходит. Она пробуждает воспоминания. И мне вспоминается история любви официанта Яши, рассказанная старым греком.

Этот грек стоял когда-то у входа в летний ресторан. Он был молчалив, не вступал в разговоры, и все его знания русского языка ограничивались словом «пожал-те». Тогда швейцар представлялся мне переодетым корсаром, а ресторан под полосатым тентом — его посудиною, севшей на мель.

Ресторан с полосатым тентом стоял за чертой города, и добирались туда на маленьком степном трамвае, который в пути дребезжал и вздрагивал всем телом, при этом стекла прыгали в рамах, а скамейка «дышала», как разошедшая лодка.

Уже с трамвайной остановки были видны побеленная труба с ржавой флюгаркой и полосатый тент, прогнувшийся под собственной тяжестью. Дорожка, посыпанная толченым ракушечником, аппетитно хрустывала под ногами, а по краям из сухой травы смотрели удивительно нежные голубовато-лиловые кружочки барвинка. И сразу посетителя оглушала бескрайняя панорама моря. Море надвигалось с мачтами, с парусами, с дымами. С ритмичными, как вдох-выдох, ударами волн. С радужными разводами нефти. С поплавками толстого бутылочного стекла. С красными буйками, пляшущими на волнах, как ваньки-встаньки. С горластыми чайками, которые, сев на воду, из гордых птиц сразу превращаются в белых уток. Отсюда, из-за круглого мраморного столика летнего ресторана, был виден не краешек моря, а вся его глубокая безбрежность.

И тут начинал играть оркестр.

Скрипач, смуглый, с устойчивыми тенями под глазами, с небрежно откинутыми назад темными волосами, играл, смежив веки, при этом изгибался и откидывал корпус, словно хотел уберечь скрипку, а смычок догонял ее и причинял боль.

За роялем сидела невысокая женщина с тяжелыми руками, как ржавчиной, покрытыми веснушками. Она с ожесточением била по клавишам — в поте лица зарабатывала свой хлеб. Временами она обводила публику таким уничтожающим взглядом, словно в зале собрались ее лютые враги и тут нужен не рояль, а пулемет.

Молодой барабанщик был худой и длинный. Рубаха висела на его бесплечной фигуре. С первых тактов его начинала трясти лихорадка. Она передавалась барабанам, барабанчикам и медным тарелкам.



Контрабасиста в оркестре не было, но большой темный контрабас стоял в углу эстрады, и иногда за него брался официант Яша, полный высокий брюнет, с остывающим румянцем на скулах, с большой глубокой впадинкой на подбородке. Все бритые места Яшиного лица отливали синевой. Впрочем, к концу вечера синева пропадала, сменялась откровенной темной щетиной.

Когда-то до войны Яша учился в музыкальной школе. Ему давал уроки сам Столярский. Профессор не знал по именам своих учеников и обращался к ним вообще: «Ты, мальчик. Ты, девочка!» Он различал их по манере игры, по тому как в их руках звучал инструмент. Закончив урок, профессор высовывался в коридор и, как парикмахер ожидающим клиентам, кричал срывающимся голосом: «Следующий!» Случалось, что от волнения на паркете под маленьким музыкантом появлялась лужа. Тогда профессор кричал в коридор: «Тряпку!»

Когда маленький Яша в первый раз пришел на урок к профессору Столярскому, тоже понадобилась тряпка...

Стать настоящим музыкантом Яше помешала война. На войне не нужны скрипачи. Там нужны люди, которые на своем горбу тащат оружие, вещмешки, плиты минометов, лопаты, ящики со снарядами, раненых, завязшие орудия, катушки со связью, хлеб, мертвых товарищей... Первое время ему на войне снилась скрипка. И он чувствовал щекой ее прохладную, хрупкую деку, вспоминал дрожащий звук струны, смолистый запах канифоли. Потом скрипка перестала сниться.

После войны было уже не до занятий. Надо было кормить семью. Яша подался в официанты.

Полосатый тент хлопал по ветру, и запах водорослей перемешивался с горьковатым духом полыни, а шорох трав сливался с шумом волн. Яша подходил к контрабасу и начинал тихо пощипывать струны. Я любил наблюдать за его игрой. Он и контрабас напоминали мне двух парней, один другому под стать, которые встретились на перекрестке и перекидываются словечками. Топчутся на месте. Шутят. Посмеиваются. Когда Яша не мог расслышать, что говорит его друг, он наклонялся к грифу ухом, и инструмент звучал громче — от него исходил густой утробный гул. Танцевали пальцы, танцевали руки, пританцовывал Яша, отставив локоть, как при вальсе. А когда музыкант смолкал, контрабас устало прислонялся к плечу друга.

В темной степи, весело мигая огнями, бежал трамвай. И было непонятно — катится он по рельсам, задевая подножкой невидимые ковыли, или раздвигает бортами темную морскую воду.

Кто-то подбегал к Яше и шептал:

— Тебя зовут за вторым столиком. Ругаются. Ты шницеля заказал? Яша спускался в зал. И шел за шницелями.

Неожиданно Яша влюбился. В рыжеволосую официантку Соню с насмешливыми зеленоватыми глазами, в которых зрачки поблескивали темными кристалликами, а острые ресницы защищали их и делали

неприступными. От Сониных волос пахло морем и нагретыми на солнце травами, и еще чем-то теплым, несравненным и манящим. И грудь ее была поднята и устремлена вперед. Соня выходила в зал, как на сцену, высоко подняв голову, держа тяжелый поднос над плечами, как горские девушки держат кувшин. Она лучилась от сознания своей красоты и привлекательности, и все вокруг говорили, что Соня станет женой капитана дальнего плавания, и Соня была уверена, что станет женой капитана дальнего плавания, и ее глаза светились предчувствием удивительного счастья.

Яша влюбился не с первого взгляда. К тому времени он уже два года работал в этом ресторане с Соней. Пил с ней чай, жаловался на поясницу и одалживал у нее «трешницу до завтра». И если кто-нибудь до этого дня сказал бы ему: «Ты влюблен в Соню», — Яша бы только посмеялся: «Уж лучше я влюблюсь в Валюсю».

Валюся в ресторане под полосатым тентом была судомойкой. Худенькая, большеротая, с резко очерченными ноздрями. Она как бы не дышала, а принюхивалась: чем пахнет? Валюся выходила в зал, собирала грязную посуду и снова исчезала в кухне. Она родилась нескладной, у нее все валилось из рук. И хотя посуда бьется к счастью, за разбитые рюмки, тарелки, фужеры и салатницы у Валюси в день зарплаты удерживали немалую сумму.

Странная любовь пришла к Яше. Без имени и без адреса. Похожая на письмо, которое никто не хочет востребовать. Эта безымянная любовь заполнила Яшу, перевернула всю его жизнь, перепутала краски. Любовь недолюбившего человека, не растрченная в юности и чудом уцелевшая в сердце, неожиданно дала ростки...

Скрипач изгибался, как бесхребетный, пианистка била из пулемета, барабанщика трясла лихорадка. А Яша шел с подносом между столиками и искал глазами прекрасную незнакомку.

И вдруг их глаза встретились — Яшины большие, слегка навывкате, и ее — пронзительно зеленые, с темными кристалликами, властные и ласковые одновременно. Соня! Как! Разве Соня? Ну, конечно, Соня! Как же он, слепец, столько времени не мог разгадать, кто его любовь. Нечаянная радость охватила Яшу. Ему захотелось бросить на землю поднос и протянуть руки Соне. Но одна мысль об этом сковала Яшу. Он густо покраснел и прошел мимо.

Впервые Яша посетовал на судьбу за то, что она не привела его к славе, как поступила с многими мальчиками из школы Столярского. Тихому Яше вдруг понадобились афиши, оvationи, корзины цветов, поклонницы. Но откуда им было взяться в летнем ресторане, где пахло жареной рыбой и пронзительной хлоркой! Нет, нет, самому Яше лучи славы и лавры были не нужны. Он давно проложил себе в жизни скромное, неглубокое русло и вполне довольствовался им. Лучи нужны были только для того, чтобы встать вровень с несуществующим капитаном дальнего плавания, а лавры — чтобы сложить их к ногам Сони. Если

бы можно было начать жизнь сначала, превратиться в мальчика от Столярского...

Однажды вечером дома Яша достал из сундука старую скрипку, прижался колючей щекой к хрупкой, потемневшей деке и осторожно провел смычком по струнам. Скрипка захрипела, как больная. Пальцы не слушались. Руки дрожали. Яша вспомнил, как старый профессор прикрикивал на него: «Скрипку надо держать, как ружье!» Тогда мальчик Яша не знал, как держат ружье. Теперь он умел не только держать ружье, но и стрелять, бить прикладом, а после боя смазывать ершиком... Но к скрипке военный опыт не имел никакого отношения. Вероятно, профессор Столярский имел в виду другое ружье. Яша опустил скрипку. Но не сдался, а решил начать с азов — с упражнений.

— Не мешай детям спать! — крикнула из соседней комнаты жена Надя.

Потом она появилась и удивленно посмотрела на Яшу.

— Что с тобой? Зачем ты... пиликаешь?

— Так, — вздохнул Яша, — вспоминаю детство.

— Да, ведь ты учился на скрипача. Ты мне рассказывал про лужу...

Никто не заметил перемен, которые произошли с официантом. Только одно существо почувствовало, что Яша уже не тот. Это была судомойка Валюся. Пронюхала своими ноздрями. Новый, влюбленный Яша стал ей ненавистен. Она отворачивалась от него, когда шла мимо, и делала ему мелкие пакости. Однажды, когда Яша к концу вечера решил сыграть на контрабасе, Валюся пробралась на эстраду и спустила струны с колков. Получился конфуз. Яша сносил злые нападки мойщицы посуды, как большие псы сносят укусы маленьких собачек. Но тут он не выдержал. Он прибежал на кухню. Схватил дерзкую девчонку за руку и крикнул:

— Я тебе дам по шее!

— Вы своей Соне давайте по шее, — невозмутимо ответила Валюся.

Яша побледнел. У него ослабли руки. Валюся вырвалась и убежала. И из другого угла смотрела на него пронзительными нагловатыми глазами.

А красавица Соня не замечала Яшиной любви. Она ждала капитана дальнего плавания. И он пришел.

Он прошел мимо корсара, переодетого швейцаром, и в ответ на его «пожал-те!» приложил руку к козырьку, чем сразу завоевал расположение старого грека. Он сел за круглый мраморный столик и заказал кружку пива. Он рассчитывал выпить кружку пива и, не задерживаясь, двинуться дальше.

Он никуда не двинулся, и все его планы полетели к чертям. Он просидел в ресторане весь вечер и пил не только сам, но угощал соседей

и заказывал музыку, и пел, и танцевал, и спорил на армянский коньяк, и с легкостью проигрывал спор, и вообще был широк и шикарен, как настоящий капитан дальнего плавания.

Но все началось с кружки пива, которую лебяжьим жестом поднесла ему зеленоглазая красавица. Она поднесла ему в тяжелой кружке не янтарное пиво с крахмальной пеной, а приворотный напиток. И он выпил его одним залпом и не вытер губ, чтобы не потерять ни одной драгоценной капли. А зеленые глаза с черными кристалликами смотрели на него ласково и властно, отталкивали и звали, приказывали и молили. Капитан дальнего плавания почувствовал, что он растет, тянется, загорается. И от этой перемены стало сладко ломить все тело. И он сказал:

— Еще кружку!

Она поплыла по залу, высоко подняв голову, держа над плечами поднос, как горские девушки носят кувшин. Он выпил еще одну кружку приворотного напитка.

И когда Соня в третий раз подплыла к буфету, то со стуком поставила пустую кружку на прилавок и весело крикнула:

— Еще одну кружку — моему капитану!

Она уже знала, что капитан ее. Она мягко смеялась от счастья.

Капитан был невысок ростом, белобров, а над головой у него курилось светлое облачко бесцветных волос. Нос уточкой, подбородок от бритвы свежий и розовый, с глубокой складкой. Сам же он был уже не первой свежести, потому что капитаны дальнего плавания редко бывают «первой свежести», теряют ее еще в штурманах.

— Шампанского — моему капитану! Ростбиф — моему капитану!

Сонин голос звучал напевно. И старый буфетчик с ввалившимися щеками слушал ее, как музыку. А тем временем в зале не смолкал голос капитана — хрипловатый, со сквознячком.

— Где моя Соня? Позовите мою Соню! Пьем за здоровье моей Сони!

Он чувствовал себя в ресторане, как на корабле, и все подчинялись ему, как капитану. И все пили. Даже глинянолицый швейцар-корсар вылил себе под усы стакан, сверкнул слюдянистыми глазами и выпалил свое единственное слово:

— Пожал-те!

Сперва Яша хотел побить капитана. Затеять ссору и врезать самонадеянному морскому волку своей тяжелой рукой. Он отправился в буфет и для храбрости попросил сто граммов коньяку.

— Яша, вы же не пьете, — удивленно сказал бесщекий буфетчик, который в окружении мензурок и колб походил на химика или даже на алхимика.

— Пью, — мрачно сказал Яша. — Я пью коньяк!

Буфетчик пожал плечами и, прищулив глаз, словно целясь, стал наливать в мензурку коньяк.

— Пью! — не унимался Яша. — Кто вам сказал, что я не пью?

— Вы никогда... — буфетчик поднял на Яшу прицельный взгляд.  
— Что значит никогда? Я пью тайком! Я пью дома. Только и делаю, что пью.

Яша был не в себе. Он выпил прямо из мензурки. Буфетчик протянул ему желтое колесико лимона. Яша сжевал колесико вместе с коркой и пошел прочь. Чистоплотный буфетчик ополоснул мензурку и тщательно вытер ее большим пальцем, обернутым в вафельное полотенце.

Яша прошел мимо столика, за которым царствовал капитан, окруженный компанией незнакомых людей. Капитан что-то громко рассказывал, размахивая рукой, заросшей белым пухом... До Яши донеслась только одна фраза:

— Занзибар — страна гвоздики.

Вокруг столика, как лебедь в пруду, плавала счастливая Соня. Увидев Яшу, она опустила глаза, но не стыдливо, а с тайным вызовом. Ее глаза как бы повторяли — «Занзибар — страна гвоздики».

Яша не побил капитана.

В этот вечер Соня шла с работы под руку с моряком. Они шли по усыпанной ракушечником, поблескивающей от луны дорожке, и невидимые лилово-голубые цветы барвинка припадали к их ногам. Яша плелся сзади, согнувшись под тяжестью своего горя. Он терял Соню. Она уплывала из его жизни на остров Занзибар, где растет много гвоздики. За Яшей шел швейцар. Он слегка покачивался и что-то бормотал себе под нос. Яша понял только одно слово — «пожал-те!» В этом слове он почувствовал горечь, словно оно было крепко поперчено.

Еще несколько раз доставал Яша свою скрипку. И, напрягая память, пытался исполнить на ней те первые бесхитростные упражнения, которые так бойко исполнял в детстве в музыкальной школе Столярского. Ничего у него не выходило. Глухой, простуженный звук вырывался из скрипки. Вместо утешения и надежды скрипка дарила ему горькое ощущение невозвратимости. Что было, то было. Поросло быльем. И никогда уже не будет ни славы, ни лавров.

— Перестань пикивать, дети спят!.

Встречаются же на свете удачливые люди, которые не ждут милости от судьбы, а повелевают судьбою. Они говорят: «Хочу капитана дальнего плавания» — и судьба не осмеливается ослушаться: есть капитан!

Соня готовилась к свадьбе. Все запасались подарками. Яша ходил по городу — искал для Сони свой прощальный подарок.

Он купил ей попугая. Зелено-луковичного, желто-яичного попугая с высокой бровью, с хохолком, с костяным клювом. Перья попугая рас-

пускались и складывались всеором. Попугай был привезен из Кейптауна и стоил немалых денег. Яша держал клетку с попугаем, как горящий фонарь. И тут ему встретилась Валюся.

— Хорошего попугая получит Соня, — сказала судомойка и втянула ноздрями воздух, словно хотела определить, чем пахнет эта заморская птица. — Можно посмотреть?

— Смотри, — вздохнул Яша.

Валюся приблизилась к клетке. В следующее мгновение дверка была распахнута, а попугай парил над улицей.

— Что ты наделала?

— Подарите Соне золотую клетку! — крикнула дерзкая девчонка, перебегающая на другую сторону. — Соня мечтает о золотой клетке. Ха-ха!

Попугай сел на карниз дома. Потом перелетел на плечо бронзового графа. Потом вцепился когтями в сухую ветку тополя. Прохожие кричали ему. Свистели. Махали руками. В толпе появился морячок с девушкой. Он стоял подбоченясь, а девушка заглядывала ему в лицо. Тогда морячок плюнул на ладони, обхватил ствол тополя и полез. Девушка, краснея от счастья, провожала его глазами. Попугай же смотрел на морячка с тупым безразличием. Ветер с моря забирался птице под перышки. Когда морячок был уже совсем близко, попугай издал утробный звук джунглей и перелетел на другое дерево.

Свадьбу играли в ресторане. Ресторан под полосатым тентом был закрыт для посторонних, и грек с глиняным лицом вместо заученного «пожал-те» мотал головой: у него не поворачивался язык произнести: «Посторонним вход воспрещен!» Круглые, желтого мрамора столики сдвинули к центру, и образовалась такая мраморная глазуня.

Капитан дальнего плавания был при полном параде. Светлое облачко над его головой пахло лавандой, тугий воротничок, как замороженный, трещал на розовой шее, пуговицы форменной тужурки горели так, словно их драили к свадьбе всей командой. Во рту вбитым костылем торчала трубка — какой же капитан без трубки! Он сиял, лучился, а рядом с ним сидела Соня. С рыжим пламенем волос. С букетиком фиалок над левой ключицей. Она тоже сияла. Черные кристаллики играли всеми своими гранями. Соня была счастлива властным счастьем победительницы. И в ее голосе звучала торжествующая жесткая нотка, которая прорезалась еще в то мгновение, когда Соня впервые произнесла:

— Кружку пива — моему капитану!

Теперь эта нотка не умолкала под полосатым тентом.

— Салат — моему капитану! — командовала Соня, и три ложки с мятой зеленью штурмовали тарелку жениха.

— Коньяк — моему капитану! — и целая батарея бутылок направляла свои жерла в его рюмку.

— Музыку — моему капитану!

И музыканты брались за дело.

В этот вечер Яша играл на контрабасе — на большом грустном инструменте с толстыми нежными струнами, глуховатый голос которых заглушали скрипка, рояль, барабаны. О чем играл Яша в этот вечер? О том, что женился он без любви, по дружбе, а любовь пришла с таким опозданием... Он почему-то вспомнил, как на фронте после долгого перехода под проливным дождем он с ребятами разжигал костер. Ничего у них не получалось. Они долго бились с сырыми сучьями. Закрывали костер от дождя полами шинелей. Выхаживали его как больного. Но когда пламя наконец поднялось и ветки весело затрещали, из темноты послышалась команда:

— Туши костер! Строиться! Быстрее, быстрее!

Соня даже не обернулась к Яше, даже не удостоила официанта-музыканта кивком головы. Она не сводила глаз с капитана.

Зато ядовитая Валюся цвела. Она поддела жареного бычка трезубцем вилки и размахивала им в такт музыки. И все время кричала: «Горько!»

По этой команде светлое облачко на голове капитана замирало и начинало плыть навстречу рыжему огню. И пропадало в нем.

Яша погибал. Струны контрабаса звучали глухо и тяжело. В них отдавалась живая боль. Инструмент мучила одышка. Он шел устало, из последних сил. А Яшины пальцы прижимали струны, как прижимают вену, чтобы сохранить кровь раненому другу...

Потом музыкантов пригласили к столу.

Яшу усадили между старым греком и Валюсей. Грек был без фуражки и его бритая голова, как глобус, была испещрена множеством голубых прожилок и коричневых пятен. Он молча шамкал губами и отправлял под усы рюмку за рюмкой. И глаза его блестели жадным весельем добычливого корсара.

Валюся щебетала без умолку. И вела себя очень дружелюбно. А когда Яша брался за рюмку, она клала свою тоненькую руку на его большую и кротко говорила:

— Вы же не пьете, Яша.

— Да, я не пью, я не пью, — бормотал официант. — Я на фронте отдавал свои пайковые сто граммов ребятам. И глупо делал. Надо пить. Налейте мне еще рюмку.

Безмолвный грек сжимал темной волосатой клешней бутылку и наполнял Яшину рюмку.

— Яша... вы хороший музыкант, — шептала Валюся, — вы... вы как Ойстрах!

— Я учился вместе с Гилельсом в школе Столярского, — говорил Яша, и румянец расплывался по его скулам. — Но судьба играет человеком, а человек играет на трубе. Или на контрабасе... Я сейчас пойду на кухню, достану топор и зарублю контрабас!

— Что вы, что вы! — останавливала его Валюся.

— Если бы я играл на скрипке... если бы не было войны...— бормотал Яша,— не было бы никаких капитанов дальнего плавания!.. Я сейчас пойду на кухню, возьму топор и зарублю капитана дальнего плавания!

Валюся поперхнулась. Грек вцепился клешней в Яшину руку. Яша крикнул:

— Горько!

Капитан, как по команде, поплыл целоваться.

— Мне горько!— простонал Яша.

Но ни Соня, ни ее жених не слышали крика его души.

Домой Яшу провожал старый корсар. Они шли по дорожке, усыпанной ракушечником, и швейцар с трудом удерживал грузного Яшу, который потерял управление и мотался по невидимым волнам.

— Я скрывал свою любовь от всех и от самого себя,— исповедовался Яша перед старым греком.— Она тоже ничего не знала. Нет! Я не смел сказать ей о своей любви... Ты понимаешь, старик. Надю я тоже люблю. Я ее люблю иначе... как мать или как сестру...

Нет, нет, я ей все рассказал про Соню. Кому же мне было еще рассказать про Соню!.. Ты знаешь, что мне ответила Надя? «Тебе надо отдохнуть. Поезжай в дом отдыха. У вас на работе есть путевки в Макапсе». А я не хочу никаких Макапсе! Я хочу туда, где цветет гвоздика! Ты любишь гвоздику, старик?

Грек молчал. Перед ним было очень удобно исповедоваться. В свободной руке он нес пустую клетку, похожую на погашенный фонарь.

Потом они тряслись в трамвайчике. И Яша под дребезжание стекол жаловался своему спутнику:

— Пушкину тоже не везло... Лермонтову тоже не везло...

Тут у Яши закрылись глаза, и он завалился бы на скамейку, если бы его не удержал старый грек.

Когда они подходили к дому, Яша немного отрезвел. И мрачно молчал. У своей двери он пожал руку швейцару и сказал:

— Спасибо, старик!

Грек посмотрел на него, беззвучно пошамкал губами и неожиданно произнес скороговоркой:

— Брось думать о ней. У нее вставные зубы. А капитан вовсе не капитан, а второй помощник. Привет!

И корсар растворился в темной южной ночи, оставив на ступеньке погашенный фонарь.



Вся эта история пришла мне на память ночью на берегу моря. Это была ночь видений. Я видел полосатый тент-парус, швейцара-корсара, официанта Яшу, Соню, Валюсю и капитана дальнего плавания.

Воспоминания приходили наяву и проникали в сон. И не было четкой границы между явью и сном.

Я решил на другой же день отправиться в летний ресторанчик. Но утром за мной заехали друзья, и мы двинулись на лиман ловить бычков. Наловили целое ведро. И был устроен рыбацкий пир. И я обжег на солнце ноги. И ночью мне снились горячие угли.

А на следующий день я ехал на степном трамвае. И шел по дорожке, усыпанной хрустящим ракушечником. Нежные цветы барвинка смотрели на меня из травы.

Я вступил под сень полосатого тента и сел за неизменный круглый мраморный столик. Подо мной в легкой дымке дышало море, и запах гнилых водорослей смешивался с ароматом акаций, и со стороны степи тянуло крепким травяным духом.

Швейцара-корсара не было. Никто не шепнул мне пароль: «Пожал-те!» Ко мне подошла незнакомая официантка с завязанной щекой и предложила пива.

— Вы давно здесь работаете? — поинтересовался я.

— Давно, — нехотя ответила она.

— Помните, здесь работала такая красивая... Соня?

— Какая же она красивая, — ответила девушка, держась за щеку.

Расплылась...

— А Яшу вы застали?

— Яшу? Конечно.

— Еще здесь крутилась такая девчонка... забыл как ее звали... большеротая, с ноздрями?

Девушка кивнула головой.

— Она за что-то невзлюбила Яшу, — продолжал я. — Досаждала ему. Один раз, помню, спустила струны с колков. За что она ненавидела его?

— Она любила его, — неожиданно произнесла официантка с завязанной щекой.

— Да нет, вы просто забыли... Она его донимала.

— Она из-за него чуть в море не бросилась... Так я принесу вам пиво.

Я выпил пиво. Поднялся из-за мраморного столика и пошел к морю. Пирамидки каштановых соцветий облетели, и ветер сгонял в ямки белые цветы с нежно-розовой сердцевинкой. На крутом склоне над морем стояла девушка-геодезистка с полосатым шестом. Смуглая, черноволосая, похожая на молодого индейского воина, застывшего на скале с копьем. Где-то внизу поблескивал глаз теодолита. Оттуда крикнули, и девушка, размахивая копьем, прыжками побежала на другую скалу.

И тут меня окликнула официантка с завязанной щечкой. «Вот тебе и раз! Забыл заплатить за пиво!» — мелькнуло у меня в голове. Но у официантки вид был скорее смущенный, чем воинственный.

— Простите, — неуверенно сказала она, — вы знали Яшу? Я хотела вам сказать, что Яша теперь работает в ресторане при гостинице. Он играет в оркестре... на контрабасе. Вы сходите, пожалуйста.

Я удивленно посмотрел на официантку. У нее был большой красивый рот и резко очерченные ноздри, как бы специально созданные для того, чтобы раньше других определять аромат жизни.

Я растерялся. И чтобы сгладить свою неловкость, спросил:

— А где теперь старый швейцар-грек? Жив?

— Жив. Он работает в другой системе...

В степи зазвенел трамвай, и с моря ему откликнулся густой протяжный гудок уходящего парохода.

## УПРЯМАЯ РОСИЦА

Я парикмахер. Стригу и брею. Люди возникают передо мной в зеркальной раме, и я могу рассматривать их сколько заблагорассудится. Изучаю носы, подбородки, глаза, затылки. Верчу чужую голову, как глобус. В каждом клиенте я нахожу что-то интересное. Одни мне приятны, другие вызывают неприязнь. Я, например, терпеть не могу людей с тонкой белой кожей: одно неосторожное движение, и из этих бледнолицых кровь течет ручьями. Еще я не люблю лысеющих. У них каждый волос на вес золота.

Знайте, что каждый парикмахер втайне ждет появления в зеркале своей судьбы. Если столько людей ежедневно возникает и пропадает, то можно же выбрать по своему вкусу и удержать за руку кого надо...

Но когда она возникла передо мной из таинственного подзеркалья, я от неожиданности растерялся и пробормотал:

— Здесь... мужской зал.

— Знаю, — отрезала она и села в кресло с такой гордой непринужденностью, с какой царица садится на трон.

На ее смуглом лице как бы теплился отсвет жаровни, а в глазах отражалась зелень травы, покрытой росой, тяжелая иссиня-черная коса лежала на спине в ложбинке между выпуклыми лопатками. Я смотрел на нее до тех пор, пока она не прервала меня резким приказом:

— Режь!

— Что... резать?

— Косу.

— Зачем ее резать?

— Не твое дело, глупый парикмахер!

Она была чем-то огорчена и говорила порывисто, словно бросала слова, а я должен был ловить их. У меня ничего не получалось: слова пролетали мимо. Тем более что они были окрашены незнакомым акцентом. И я прислушивался больше к их звучанию, чем к смыслу. Это ее рассердило, она повернулась ко мне и решительно сказала:

— Режь, или я уйду!

Ах да, надо резать косу.

Я смотрел на нее в зеркало, не решаясь посмотреть прямо. Зеркало защищало меня, скрывало мое смущение.

— Как тебя звать? — невпопад пробормотал я.

— Не твое дело!.. Росица.

— Красивое имя.

— Ничего красивого!

Ее зеленые глаза смотрели на меня сердито и поблескивали, словно на самом деле в них зелень травы была перемешана с каплями росы.

— Я болгарка. Режь косу, тебе говорят!

— Подожди, Росица. Отрезать ничего не стоит. Раз — и нет косы. Но без косы будет некрасиво.

Не действовали на нее мои слова.

— У вас только одно на уме — красиво, некрасиво. А они не возьмут меня. Они смеются: куда тебе с такой косой!

— Кто тебя не возьмет? Куда?

Она вдруг оторвала глаза от зеркала и посмотрела на меня.

— Ты что-нибудь понимаешь? Ты ничего не понимаешь, глупый парикмахер! Братья возвращаются на родину, а меня оставляют. Они говорят — опасно. Но я не останусь. Слышишь? Режь!

Сколько волос я перерезал за свою жизнь... Случалось мне резать и косы. Я хладнокровно наматывал их на руку, как веревку и, сильно нажимая на ножницы, резал. Пожалуйста, забирайте вашу косу. Но теперь мне как бы предстояло резать по живому, вонзать ножницы во что-то нежное, болезненно чувствительное.

Я специально долго рылся в ящиках туалета, хотя ножницы лежали передо мной на мраморном столике. Я надеялся, что она изменит свое решение. Напрасно надеялся.

— Нашел свои ножницы? — нетерпеливо спросила она.

— Может быть, ты одумаешься? — взмолился я.

— Режь, мучитель! Режь!

Она впилась в меня глазами и не отрывала взгляда, пока я не встал за спиной и не взял в руки ее косу. Теперь, шелковистая, тонко пахнущая розовым маслом коса лежала у меня на ладони. Мне казалось, что, отрезав косу, я лишу ее красоты, погашу жар, который проступал на ее смуглом лице, как отблеск жаровни. Но отступить было некуда. Я раскрыл ножницы.

Коса у меня на ладони стала тяжелее. Но была по-прежнему теп-

лой. Это было тепло ложбинки между лопатками, как бы специально устроенной природой для косы.

— Все? — спросила Росица.

— Все, — откуда-то издали отозвался я.

Она вскочила с кресла, уже не царица, а девчонка — и быстро зашагала к выходу.

— А косу?.. Ты не возьмешь косу?!

Росица остановилась в дверях, и глаза ее засверкали озорными зелеными огнями.

— Оставь себе на память!

Она скрылась, а я все еще держал в руке тяжелую, теплую косу.

Ах эта коса! Сколько раз я доставал ее, бережно брал в руки и разглядывал, как будто искал ответа на множество нахлынувших вопросов. Я касался косы щекой, вдыхал тонкий аромат розового масла и чувствовал слабое, далекое тепло — эхо тепла Росицы. Куда унесла судьба это нетерпеливое, горящее существо, как бы специально созданное для борьбы и несогласия? Она промелькнула и вышла из рамки зеркала, исчезла, оставив странный след — отрезанную косу. Если бы не было этого следа, я бы решил, что она приснилась мне, растворилась в нереальном зазеркалье, где левая рука кажется правой, а правая левой. Эге, глупый парикмахер, кажется, ты упустил свою судьбу!

Не упустил я свою судьбу. Росица появилась снова — ждала у входа в парикмахерскую. Я не сразу узнал ее. Черный платок обрамлял лицо, делая его старше и строже.

— Здравствуй! — сказала она.

— Ты не уехала?

— Они не дождались меня. Я опоздала. Из-за тебя, глупый парикмахер. Что ты уставился на меня?

Я не знал, что сказать и пробормотал:

— Ты, наверное, хочешь забрать косу?

— Если коса тебе мешает — выбрось ее.

— Зачем же ты пришла?

Глупее вопрос трудно было придумать. Зачем ты пришла? Это звучало обидно, но Росица не обиделась.

Она ответила с детской естественностью:

— Они же оставили меня одну. У меня больше никого нет. Вот я и пришла к тебе.

Жар ударил мне в лицо. Я почувствовал, как кровь волнами заливает лицо. Она пришла к тебе, глупый парикмахер! Что же ты стоишь как окаменевший? Пой! Пляши! Прыгай!

— Пойдем, — тихо сказал я.

Она не спросила, куда, зачем, далеко ли. Она ответила:

— Пойдем.

И мы пошли.

— Есть у нас город, где все улицы упираются в море, — неожиданно заговорила Росица, шагая рядом со мной. — Куда ни пойдешь, обязательно выйдешь к морю. На улицах пахнет водорослями и рыбой. А дома маленькие, двухэтажные. Второй этаж выступает над первым, а во дворах висят сети. словно весь город попался в большую сеть. Рассказывать?

— Рассказывай!

Я обрадовался, что она рассказывала, потому что сам от смущения потерял дар речи и молчал бы всю дорогу.

— Вокруг города возвышаются крепостные стены. Враги не смогли их разрушить. Разрушило море. И время. С берегом город соединяет узкая полоска земли. А в гавани покачиваются шхуны.

— Что же это за город? — спросил я.

— Несебр! Самый лучший город в Болгарии.

Я почувствовал, что она держит меня за руку. Ее маленькая теплая рука была сильной. И я подчинился силе ее руки — шел с ней по Несебру, и передо мной возникали крепостные стены, сети, шхуны.

— Если тебе кто-нибудь скажет, что Созопол лучше, не верь ему. Все созопольцы хвастуны. Слышишь?

— Слышу, — отвечал я и уже был глубоко убежден, что Несебр, несомненно, лучше Созопола, хотя впервые слышал об обоих городах. Все, что относилось к Росице, само по себе становилось привлекательнее и лучше остального.

И вдруг девушка остановилась и рукой остановила меня.

— Но мы с мамой жили у дедушки Пенчо в Рильских горах. А в Несебре у отца была шхуна... Жандармы отняли шхуну, а отца повесили. Потому что он помогал революционерам. И все его сыновья — борцы за свободу. И дочь — тоже. Понял, глупый парикмахер?

Ничего я не понял, только чувствовал в своей руке ее маленькую теплую руку с шершавой кожей на обветренных пальцах.

Время от времени Росица появлялась в окне нашей парикмахерской. Я отрывал взгляд от головы клиента и видел ее между двумя манекенами, стоящими в окне. Она наблюдала за мной. Давно или только что пришла? Я не знал. Я делал ей знак: сейчас выйду. Она качала головой: не надо. Она не хотела мешать мне работать. Она очень тяготилась одиночеством и, не дожидаясь вечера, приходила, чтобы не быть одной.

Постепенно я привык, что она с улицы через окно наблюдает за мной. Она приходила незаметно и так же незаметно исчезала. Посмотришь в окно, а ее уже нет.

Иногда мне казалось, что я стою перед зеркалом и вижу не самого себя, а кого-то другого — счастливого, сияющего.

Какое хорошее это было время!

Мы вместе обедали в маленькой каморке за залом. Она делала вкусный шопский салат из помидоров, чучки-перца, лука и козьего сыра...

А по вечерам мы бродили по городу или выбирались к морю и лежали на гальке, подложив под головы руки. Над нами стояли крупные звезды. Но Росица говорила, что у них в горах звезды крупнее, потому что горы ближе к звездам, и что ее братья сейчас не спят: у них самая война ночью. Они смотрят на звезды, и она смотрит на те же звезды. А я смотрел на Росицу — в темноте она не видела, что я смотрю на нее — и я видел в ее глазах зелень с капельками росы.

— Послушай, глупый парикмахер, — неожиданно заговорила Росица и заглянула мне в лицо, — хочешь жениться на мне?

Я не мог понять: говорит это она серьезно или смеется? Я промолчал. Тогда она заворочалась, и ее локоть сильнее уперся в мое плечо.

— Ты напрасно не хочешь жениться на мне, — сказала она. — У нас из окна видна вершина Мусалла. Наша деревня называется Жабокрек. Смешное название, правда? Там на закате кричат жабы на берегу реки Скр. Все реки текут на юг, а наша повернула и через горы потекла на север, к Дунаю. Упрямая река! Дедушка Пенчо большой мастер делать вино. Ты когда-нибудь пил вино, которое называется «Монастырское шушуканье»? Не пил? Это лукавое вино. Когда выпьешь его, начинаешь не петь, не плясать, а шушукаться. Расскажешь все, что у тебя на душе... Дедушка и такое делает — красное, как кровь. Так вот, когда я родилась, дедушка Пенчо закопал в землю пять бутылок вина. «Пусть ждут в земле, пока Росица вырастет», — сказал он. — Это будет ее свадебное вино».

Росица села и тихо засмеялась. Она сжала мою руку выше локтя и с упреком сказала:

— А ты не хочешь на мне жениться!

— Хочу, — сказал я.

— Из-за вина? Правда, глупый парикмахер? Ты хочешь жениться на мне из-за дедушкиного вина? Так бы не женился? Ничего, ничего, дедушка Пенчо разберется в тебе. Если ты ему не понравишься, он не откажет вина.

Она снова засмеялась. Ее смех был мягким и ласковым, он как бы долетел из дома дедушки Пенчо, из того далекого мира, куда не ступала моя нога. Я слушал ее смех, а потом набрался смелости и провел рукой по стриженным волосам. Волосы обрывались, и рука соскользнула в ложбинку между лопаток, где раньше лежала коса. Я задержал руку. Она перестала смеяться.

— Что же ты молчишь, глупый парикмахер?

Глупый парикмахер молчал. Ошеломленный. Погруженный в счастье. Все смешалось в его голове. Море танцевало. Звезды кружились. А Росица дышала мне в щеку.

Иногда ею овладевала тревога, и ее глаза наполнялись испугом. Как-то раз она прибежала ко мне утром. Я брил старика. Все лицо было, как запущенное поле: с выбоинами, бугорками, морщинами. Я боялся его порезать и брил медленно. Росица прибежала и сказала:

— Пойдем. Ты нужен.

— У меня клиент...

— Ты мне нужен... на две минуты.

Пришлось оставить старика недобритым. Я не мог послушаться ее. Я все время ощущал маленькую крепкую руку, которая вела меня куда ей хотелось. Когда я вышел на улицу, она сказала:

— Мне сегодня приснилась девочка.

— Ну и что из этого?

— Она плакала и бежала ко мне. Я протянула руки, девочка бросилась мне на шею. Она вся дрожала от непонятного страха. Я подняла ее и не почувствовала веса. Меня бросало в жар, а она была холодной и дрожала.

Мы шли по улице, не обращая внимания на прохожих. Люди толкали нас. Все спешили, у всех были дела.

— Потом я проснулась и поняла: это — Виличка. Моя двоюродная сестра. Наверное, там где-то неладно, раз приснился такой сон.

Росица замолчала и вопросительно посмотрела на меня. Я сжал ее руки. Они были холодными.

— Глупости, — сказал я. — Забудь про этот сон.

— Как же забудешь?

Она была серьезной. В первый раз не называла меня глупым парикмахером и как бы искала у меня защиты. Но как мог я ее защитить? В ней шла какая-то напряженная, далекая от меня жизнь. Я слышал ее отголоски. В этой жизни гремели выстрелы. И людей вели на казнь. Все это было далеко от меня и близко к Росице. Она жила этой жизнью. Ее сердце было там, в Рильских горах, где наперекор природе текла на север река Скр. И сама Росица была похожа на эту упрямую реку.

А тут еще этот сон взбаламутил ее.

— Я скоро уеду, — тихо сказала Росица, прижимаясь плечом к моему локтю. — Мне нужен парус.

Она погладила рукой мой белый парикмахерский халат и сказала:

— Какой хороший белый парус.

Когда я вернулся на работу, недобритый старик спал в кресле. Ему тоже что-то снилось.

Зеркало парикмахера — зеркало времени. От него не скроются перемены, происходящие в жизни. Неожиданно в моем зеркале все чаще стали появляться люди в военной форме. С каждым днем их стало появляться больше. И стрижка стала проще. Заработала моя машинка, срезая под корень волосы — прямые и вьющиеся, жесткие и шелковистые, темные и седые. Уборщица Аннушка выметала целый ворох срезанных волос.

Так для меня началась война.

— Глупый парикмахер, ты умеешь стрелять? Молчи, не умеешь. Ты умеешь стричь и брить. И бить бритвой по ремню. А я умею стрелять. Меня научили братья. Мы стреляли в пещере. Ни один жандарм не мог догадаться, где мы учились стрелять. Братья меня не брали, но я красась

за ними по темным проходам пещеры. Они меня ругали, били. Но все же давали стрелять. Я рада, что началась война. Раз война — будет свобода. Я должна пробраться в Болгарию.

В этот день Росица была очень разговорчивой и радостной. У нее все не как у людей: для людей война — горе, для нее — праздник.

— Росица, сейчас не до шуток. Пылают города. Гибнут люди. Ты никуда не должна пробираться.

Она посмотрела на меня покровительственно, как взрослые смотрят на детей. Не рассердилась, просто сказала:

— Никогда не знала, что полюблю глупого парикмахера. И если бы дедушка Пенчо знал, что я полюблю глупого парикмахера, он вместо свадебного вина зарыл бы в землю уксус. Я нужна там... Они хотят обойтись без меня. Но они не обойдутся.

Последние слова она произнесла твердо. Я почувствовал, что не смогу удержать ее.

— А как же я, Росица? Или я тебе больше не нужен?

Ее глаза наполнились теплом: зеленая травка в солнечный день.

— Вино, которое закопал в землю дедушка Пенчо в час моего рождения — твое вино. Никто, кроме тебя, его не выпьет. Придет время, глупый парикмахер. Нельзя же пить сладкое свадебное вино, когда кругом горе.

И она исчезла.

Я привыкал к разлуке, как человек, попавший из яркого света, выкается к темноте: сперва абсолютно слеп, потом начинает различать очертания предметов. Я был так наполнен ею, что, когда ее не стало рядом, образовалась пустота, и ничто не могло ее заполнить.

Я смотрел в окно и видел только лакированные головы манекенов. Но мне казалось, что вот-вот появится стриженная головка Росицы.

Я ходил по улицам, и дома, камни мостовой, деревья, выросшие между камнями, рассказывали мне о Росице. Закрывал глаза — слышал рядом ее шаги и чувствовал ладонью тепло ложбинки на спине, в которой лежала ее коса.

Иногда мне казалось, что я иду по немощеной улице далекой болгарской деревни Жабокрек. Виноградная лоза зеленым венком обвивает крылечко, и тяжелые запотевшие гроздья можно рвать прямо из окон. Сушатся гирлянды листьев табака — зеленые, желтые, темно-коричневые. А в огородах красными фонариками горят чучки-перцы, — яркие и лакированные. От небольшого трактира тянет вкусным дымком скары, на которой пекутся сочные кибачата. И доносится грустная песня времен турецкого ига. И люди пьют вино с лукавым названием «Монастырское шушуканье».

Где-то там, во дворе дедушки Пенчо, зарыто наше свадебное вино.

Погасли яркие огни парикмахерской. Ослепли зеркала — бесконечно сверкающие коридоры, ведущие в зазеркалье. Улетучились разноцветные ароматы одеколонов... Но разве во время войны не растут воло-



сы и не пробивается щетина?.. Черный, подплавленный разрывами снег. Землянка, три обледенелые ступени — осторожно, не сверните шею. Печурка, то малиновая от жара, то неприглядно черная, с окалинной — кончились дрова. И осколок зеркала. Я стригу и брею. А в углу стоит мой карабин. Брею только начальство. Стригу всех подряд. Под машинку. Сколько взводов, рот, батальонов подстриг я за войну!

Где Росица? Где таинственный город Несебр? Когда мы выпьем душикино вино и пошущукаемся о нашей жизни, о нашей разлуке? Великая разлучница-война не приспособлена для любви. Но нет такой силы, даже военной, которая могла бы заглушить любовь. Она живет в человеке, пока жив человек. Пробивается, прокладывает путь к солнцу, как упрямое растение. Взлетает на глазах у всех яркой сигнальной ракетой. И гаснет на пути с вершины. Но и короткой вспышки хватает человеку, чтобы согреть сердце. У войны свои расстояния и свое время. Сколько мирных километров стоит один километр под огнем! И на сколько тихих часов можно растянуть минуту, прожитую в бою? А если военных километров и минут множество, то каким большим должен быть человеческий век?! А он-то как раз на войне недолог. Обрывается внезапно, хотя до последнего мгновения человек верит: не оборвется!

А парикмахер стрижет и бреет, и все считают, что ему хорошо. Но пуле или осколку один черт — стрелок на пути или парикмахер, или сапер. Может быть, стрелка они настигнут раньше, а за парикмахера примутся чуть попозже.

Осколок впился в плечо. Кто-то разорвал на мне гимнастерку и забинтовал на скорую руку. А я уже плыл в тумане, оглушенный болью и собственной кровью. Я плыл по каменной реке, каменные волны ударили в раненое плечо. Машина привезла снаряды, а увозила меня. Меня подбрасывало и ударяло, как пустой ящик. В кузове не за что было ухватиться. Повязка сползла, пошла кровь. Я катался по дну и ударялся о борта. А шофер в кабине не волновался, словно вез свои снаряды. Черт бы его побрал! Каменные волны ударяли в голову. Я открыл глаза: надо мной ходили звезды. Росица, это твои звезды? Ты смотришь на них из своих гор? Ты чувствуешь, что я тоже смотрю на них. Может быть, в последний раз. Слышишь?

Я прислушивался, чтобы услышать хотя бы одно словечко, окрашенное болгарским акцентом. Росица! Неужели я погибну в этом проклятом грузовике? Росица! Дай мне глоток нашего свадебного вина. Я знаю, почему у меня горит плечо. Тебя оторвали от моего плеча, и хлынула кровь. Нельзя живое отрывать от живого. Нельзя остановить сердце, переполненное любовью.

Потом откуда-то выплыл белый парус. Да нет, это же мой парикмахерский халат. Ты надела его, Росица? Положи мне руку на лоб... Наклонись ко мне, где эта ложбинка между лопатками? Росица... Ты Ньюра? Нет, нет, ты Росица. Не отходи от меня... Терпеть не могу бледнолицых. Сделаешь неосторожное движение бритвой, и кровь потечет ручья-

ми. Почему мне порезали плечо, у меня крепкая кожа... Росица, а душка Пенчо не забыл, куда он зарыл наше свадебное вино? Старики так забывчивы... Росица... Росица...

Потом как-то утром мне показалось, что кто-то бежит под окном в красной рубашке. Это на ветру развевался красный флаг. Война кончилась.

У многих людей за спиной военная дорога, но у каждого она разной длины. Моя дорога была не самой дальней, но и ее хватало, чтобы в душе что-то перегорело, что-то появилось новое. И только Росица как была со мной в начале этой дороги, так и пришла к ее концу. Ни одна капля любви не выплеснулась.

Я вернулся домой. Встал перед старым зеркалом и разложил на мраморном столике туалета свой инструмент. Тут, в парикмахерской, все было неизменным. Только два деревянных манекена куда-то запропастились. Наверное, в холодную зиму их пустили на дрова. И у зеркала оказался отбит угол. Я надел белый халат поверх гимнастерки, а из-под халата виднелись стоптанные кирзовые сапоги.

— Пожалуйста, проходите. Кто следующий? Вас побрить, подстричь? Массаж? Комплекс?

Я стал работать и ждать. Она должна была прийти ко мне, моя очаянная Росица. Она знала, где я, а я не знал, где она. Я работал и посматривал в окно. И все загадывал: вот подниму глаза, а она стоит и следит за моей работой. Надо только набраться терпения и не смотреть каждую минуту в окно. А если она постоит-постоит и уйдет?

Мое зеркало отражало новое время. В нем все меньше появлялось военных. Их сменили бледные, вытянутые мальчишки, подростки, как грибы. Они подставляли мне свои вихрастые головы и требовали, чтобы я сделал их красивыми. Еще недавно все мечтали остаться в живых, теперь захотели стать красивыми. Пошел новый круг жизни. Текло время. Отстукали осенние дожди, отпыхали вьюги, весна подняла воду в реках. Росица не появлялась.

Не появилась она и через год, и через два. И тогда я собрался в путь.

Я поехал в Болгарию, нашел деревню Жабокрек, что стоит на берегу строптивой, текущей наперекор всему реки Скр. Впрочем, самой реки в ту пору не было, в каменном ложе тоненькой струйкой вытянулся ручеек. Был конец лета, и подсолнухи уронили свои тяжелые головы и уже не смотрели на солнце.

А вокруг высились отвесные скалы Рильских гор. По ним, навстречу облакам, тянулись огромные, островерхие ели с синеvато-серебристой хвоей.

У крайнего дома сидела старуха с белой куделью и пряла. Ее вере-

тено то крутилось, как волчок, то замирало на нитке, как поплавок перед клевом.

Я поздоровался. Старуха поклонилась мне и предложила сесть рядом. Я спросил:

— Вы не знаете Росицу?

— Какую Росицу?

— Внучку деда Пенчо.

— Какого Пенчо?

Я мог сказать, что это тот дед Пенчо, который зарыл вино в день рождения внуки. Так, наверное, все деды в Жабокрее зарывают вино.

— Ее братья были партизанами,— пояснил я.

— В Рильском отряде? — спросила старуха.

Я кивнул. Старуха молча сучила нить. Потом, вздохнув, сказала:

— Мало кто остался в живых из Рильского отряда. Но и фашистам от них досталось. Какая она, твоя Росица?

Я сказал:

— У нее черные волосы и зеленые глаза

— У всех девушек черные волосы,— сказала старуха. — А глаз я давно не различаю по цвету. Хочешь кислого молока?

Не хотел я кислого молока. Ничего не хотел. Я хотел найти Росицу. Я попрощался и пошел дальше.

В деревне строили новые дома. Мужчины, раздетые до пояса, с белыми повязками на голове, месили глину, формовали кирпичи и пели. У некоторых на бронзовых загорелых спинах проступали розовые узловатые шрамы от недавних ран.

Я спросил, нет ли среди них кого-либо из Рильского отряда? Кого-то окликнули: с лесов прыгнул невысокий крепкий мужчина с чуть приплюснутым носом. Он сказал:

— Я из отряда Василя Дмитриевского. А вы откуда?

Я сказал, откуда я и кого разыскиваю. Он закурил, прищурил глаза. Потом сказал:

— Не повезло девчонке. Они ее захватили в самом конце. Не надо было ей приходить этой ночью к деду. Фашисты охотились за ней. Храбрые люди отличаются от хитрых еще тем, что попадают в западню. Она попала, и ее повесили.

Огонек надежды затрепетал, согнулся, как от сильного ветра, но не погас. Может быть, это была не моя Росица? Мало ли в Жабокрее Росиц, внушек деда Пенчо. Я смотрел в лицо бывшего партизана, а тот раскуривал свою сигарету и как бы отгораживался от меня дымовой завесой.

— Хотите знать, как она умирала? Ее спросили: «Есть последнее желание?» Она сказала: «Есть. Хочу обвенчаться перед смертью с одним человеком». Они сказали: «Назови его, мы приведем». Она засмеялась: «Не приведете. Он занят делом. Бьет вас там, в России. Не исполнить вам моего последнего желания. У вас кишка тонка». Когда палач подо-

шел к ней с повязкой, у него дрожали руки. Она усмехнулась и сказала: «Не бойся. Не тебя вешают, а меня. Убери свою тряпку, она тебе скоро самому пригодится». Росица приняла смерть с открытыми глазами.

Я узнал свою Росицу в рассказе партизана. Это была она. Похожа на свою родную непокоренную реку Скр.

Потом он показал мне, где стоял дом дедушки Пенчо. Его сожгли фашисты. Там теперь еще виднелись развалины и пробивалась колючая трава трын, которую едят только ослы. Я подумал: может быть, взять в руки заступ и отыскать зарытое вино? Глупый парикмахер! Свадебное вино пьют только вдвоем. Его нельзя пить в одиночку. А вином для тризны никто не запасается.

Наши корни уходят далеко в ту войну, и, если отрубить их, мы засохнем, потому что в темных земных глубинах войны таятся не только чаша боли и утрат, но и любовь, которая дает силу жить. Мы были переполнены любовью, и время, погасившее огни, затоптавшее посевы, задушившее звуки жизни, оказалось бессильным убить любовь.

Мы не выпили наше свадебное вино. Оно лежит в земле. Но вино не портится. И чем больше его возраст, тем больше в нем терпкой силы и благородства. Пусть какой-нибудь счастливый парень найдет наше свадебное вино и выпьет его со своей любимой «на здоровье», как говорят болгары.

## НОЧНАЯ НЯНЯ

Я ночная няня. Я старая сова, для которой ночь — главное время жизни. Бодрствую, когда все вокруг спят, и сплю, когда все бодрствует. Я люблю спящих людей. Во сне люди доверчивы и беззащитны, как дети. Никого не обманывают, не предают друзей, не лстят, не делают карьеру. Порой мне кажется, что самое прекрасное состояние людей — сон.

Я работаю в детском садике, на пятидневке. У меня никогда не было детей, и у меня всегда есть дети. Вот они посапывают в ночной тишине, спят в своих кроватках в самых немислимых позах, словно сон застиг их на бегу, во время прыжка, в разгар потасовки. Говорят, дети растут во сне. Спросите об этом меня. Я ночная няня, кто-кто, а я-то знаю, как растут дети, они растут у меня на глазах. Тянутся, изгибаются, вскрикивают. И сон их тревожен. Кто-то заплакал — приснился страшный сон, кто-то отлежал руку. Кто-то попросился. Я подхватываю горшок и, бесшумно ступая мягкими тапочками, спешу на зов. Пис, пис, пис... Вот и хорошо. Вот и молодец. Спи. А-а-а, а-а-а. Засопел. Уснул. Ему некогда бодрствовать — он растет.

Старой сове нельзя спать. Что же делать долгими бессонными ночами? Когда я была молодой, то ночи напролет мечтала. А теперь — вспоминаю. В моих воспоминаниях все те же ночи, до краев заполненные чистым детским сном: ведь если у меня что-нибудь и случалось, то случалось ночью. Ночная жизнь!

Иногда мне кажется, что стены начинают вздрагивать, покачиваться, а из-под пола доносится дробный стук колес. И тогда я попадаю в старый, холодный вагон. Он скрипит, дребезжит, стонет и кажется вот-вот развалится. Но каким-то чудом, может быть, по инерции вагон остается цел. Катит! Двери в купе открыты, на полках по двое, вальтом спят дети. А кому не хватило места, спит прямо на полу...

В коридоре над дверью горит тусклый фонарь, слабый призрачный огонек свечи бьется внутри, как крыло пойманной бабочки. Вагон бросает из стороны в сторону — качается, работает большая железнодорожная колыбель. Баю-бай, баю-бай. Эту колыбельную напевают колеса, и рельсы, и стыки. Скрипка, труба, барабан — целый оркестр звучит под полом вагона.

Я притулилась на откидном сиденье в узком, мрачном коридоре и напряженно прислушиваюсь к кашлю, к плачу, к бормотанию. Мне все время кажется, что кто-то зовет меня, кто-то упал с полки.

Наш поезд называется эшелоном. Нас не везут, а эвакуируют, или, как некоторые произносят это рожденное войной слово, «вакуируют». Мы убегаем от войны всем детским садиком. Мы еще не знаем, что от войны нельзя убежать, даже на краю света война настигает человека.

Меня клонит ко сну: колыбель-вагон укачивает всех без разбору, кого надо и кого не надо. Но я стойкий боец со сном — ночная няня. Я не свылклась с положением беженцев и жалею своих детишек, отторгнутых от родителей и еще не понимающих своей беды. Хорошо, что они забылись во сне.

Моя сменщица, дневная няня, спит на верхней полке, откинув пухлую белую руку с ямочкой под локтем. Одеяло сползло, и я вижу, как высоко поднимается и опадает ее грудь, одна нога согнута в колене, рубашка опустилась. По привычке всех закрывать, осторожно натягиваю на нее одеяло.

Нет, это заблуждение взрослых, что дети ничего не понимают. Они чувствуют беду смутным, не до конца развитым чувством. Они — маленькие пророки — угадывают приближение беды.

Иногда сон смаливает меня, и я проваливаюсь в темную вязкую бездну, но в следующее мгновение с испугом пробуждаюсь, и мне начинает казаться, что я со своими детишками попала в какой-то обезумевший вагон, который, не разбирая дороги, катит по степи неизвестно куда и неизвестно зачем. Я встаю и как лунатик иду по узкому коридору, вытянув вперед руки. Жестокая качка бросает меня от стены к стене. Дребезжат стекла. Тускло мерцает фонарь. Пахнет гарью и хлорной известью.

Чтобы отогнать сон, я беру кухонный нож со сломанным концом и начинаю стругать щепу для растопки. Лучинки упруго, как струны, отскакивают от полена. Сейчас я натолкаю их в топку кипятильника, зажгу, и по вагону потянется домашний запах самоварного дымка. В граненый стакан с мутными толстыми стенками буравчиком ударит крученая струя кипятка...

Но вместо этого темное окно стало багровым, словно в него ударило пламя пожара, раздался какой-то неестественный треск и вагон подбросило, а потом соседние вагоны затолкали его лязгающими буферами. Не понимая, что произошло, я, едва удержавшись на ногах, сорвалась с места, заметалась по вагону. В первый момент мне показалось, что вагон разом опустел. Но оказалось, что дети на местах — исчезли и тут же вернулись, и, ощутив их присутствие, я обрадовалась. Кто-то закричал, кто-то заплакал. Кто-то именно в этот момент попросился на горшок. Я забегала из одного купе в другое. Как могла успокаивала свой расстроенный улей.

— Спи, спи... Повернись... Дай я тебя закрою... Нет, еще не приехали... Пис-пис... давай скоренько...

Я не заметила, как вагон перестало качать, поезд остановился. Средоточенно, без суеты я делала свое дело.

И тут резко распахнулась дверь, запахло камфорным маслом и в вагон вошел комендант эшелона — Фазан. Не помню точно его фамилии — Фазин или Файзулин, или еще как-нибудь, все звали его Фазаном.

Фазан был невысок ростом. У него были сердитые, с красными ободками воспаленные глаза. На голове, глубоко наползая на плоские уши, сидела фуражка цвета хаки с большим квадратным козырьком. На Фазане была непомерно длинная, чуть ли не до колен, военная гимнастерка, затянутая командирским ремнем с двумя рядами дырочек.

Казалось, фуражка и гимнастерка принадлежали крупному мужчине, а достались коротышке.

— Ты?! — спросил он, уставясь на меня сердитыми черными глазами. — Почему с ножом?

Тут только я заметила, что в руке у меня нож, которым я стругала лучину для кипятильника. Я бессмысленно смотрела на нож, а комендант расспрашивал меня, и это было похоже на допрос.

— У тебя все живы?

— Все... — пробормотала я.

— В третьем вагоне убило девочку... разнорабочей Чудиной.

— Как убило? — Я непонимающе уставилась на коменданта.

— Обыкновенно, осколком, — ответил Фазан. — Война!

— Ну, конечно, война! — согласилась я, но смысл сказанного Фазаном все еще не доходил до моего сознания.

— Налет. Бомбежка. Ты спала, что ли? — Фазан говорил отрывисто, при этом его большой тонкий рот открывался и закрывался, как створки кошелька. И от него неприятно пахло камфорным маслом.

Я все ждала, когда он уйдет, но он снял фуражку и провел ладонью по голове. У него была бритая, с каменным блеском плоская голова и было невозможно представить, как на такой каменной почве когда-то росли волосы.

— У тебя есть кипяток? — резко спросил Фазан.

— Сейчас я растоплю... все уже готово, — я засуетилась у кипятика, чиркала спички, обжигала пальцы, а Фазан опустил на скамью и, судя по всему, собирался дожидаться чаю.

— Ты замужняя? — вдруг спросил он. От красных ободков вокруг глаз он казался больным.

— Не-ет.

— Это хорошо. — Фазан улыбнулся, отчего его лицо сразу стало глуповатым. — Кто у тебя остался в городе?

— Мама, сестра. Вы же не разрешили забрать их.

— Правильно, не разрешил. — Фазан перестал улыбаться и посмотрел на меня жестко. — Я и своих стариков оставил, раз не положено.

— Но своих-то вы могли, — вырвалось у меня. — Вы же начальник. Они погибнут под немцем.

— Знаю... Все знаю.

— Что же вы?!

Мне вдруг стало страшно. Мне показалось, что рядом со мной не человек, а страшная машина с мерцающими холодными огнями вместо глаз, и прикажи этой машине, — она все исполнит, сделает все, не задумываясь: обидит, раздавит, убьет. Сидя рядом с комендантом, я ждала чего-то страшного. Но он вдруг подвинулся ко мне ближе и покрыл своей рукой мою, лежащую на скамейке. Его рука была сухой и холодной, как у обезьяны. Я испуганно отдернула руку.

— Что же ты так, — сказал Фазан, — не укушу.

«Укусишь!» — захотелось мне крикнуть, но я сдержалась.

— Я человек порядочный, мне доверяют, — говорил Фазан. — Я тоже могу любить...

В это время тревожно загудел паровоз. Заскрипели тормоза. Вагон неловко качнуло.

— Опять налет! — Фазан тут же вскочил на ноги и натянул фуражку на самые уши.

— Проявляй бдительность, — почему-то сказал он и, сверкнув глазами, ушел.

Я ничего не понимала — почему надо проявлять бдительность и как проявлять бдительность. А главное-каким образом убило девочку разнорабочей Чудиной. «Убило девочку... Убило девочку...»-про себя повторяла я и шла по вагону. А может быть, осколок пробил крышу нашего вагона, и кто-то из моих детишек затих навечно? Я снова начала обход, склонялась над каждым ребенком, прислушивалась к дыханию, торопливо ощупывала. Все они дышали, все были теплыми, мои детишки. А дочь разнорабочей Чудиной...

Я подошла к своей сменщице, чтобы поделиться с ней своими тревогами. Она лежала неподвижно и казалась бездыханной. Может быть, она? Я просунула руку под одеяло и нащупала что-то мягкое, теплое, живое. Жива! Я не стала ее будить.

В хлопотах я не заметила, как поезд тронулся, как застучали колеса, запели рельсы и огромная колыбель стала раскачиваться, раскачиваться. Поезд шел в обратную сторону, потому что впереди был взорван мост, но об этом я узнала потом, а пока я чувствовала только движение. Я подошла к окну, двумя ладонями и лбом прижалась к холодному стеклу, но ничего не смогла рассмотреть, только изломанные струйки дождя ползли по стеклу.

Я села посреди коридора на откидное место, обняла себя для тепла за плечи и уронила голову.

Я проснулась от стука. Кто-то глухо стучал в наружную дверь вагона. Открыла глаза. Поезд снова стоял. Дети спали. Окна были серыми — сквозь ночную мглу только начинал просачиваться робкий свет рождающегося утра. Стук повторился. Он был настойчив и требователен. Я встала. Откидное сиденье хлопнуло. Я вышла в тамбур и с трудом открыла наружную дверь. В лицо мне дохнула промозглая сырость осеннего утра и запах гари.

Сперва я никого не увидела и подумала, что этот стук пригрезился мне. Я протерла глаза и пристально посмотрела вниз, там было темно, как в бездне. Но постепенно в мутной полумгле возникли две фигуры: большая и маленькая. Они как бы начали проявляться, образовывались из серых, невнятных волоков тумана. Головы у них были подняты — они молча смотрели на меня. Я, наконец, смогла рассмотреть их.

Один из двух, высокий, был солдатом: я разглядела пилотку и шинель. И когда он приблизился, от него пахло табаком, сапожной мазью и мокрым сукном — запахом солдата.

— Кто ты? — спросила я.

— Огородников! — Голос его удивил меня: он был чистым, неогрубевшим и грудным.

Рядом с солдатом стоял мальчонка в длинной вязаной кофте, видимо, материнской, и в белой панаме, хотя на дворе была осень. Два больших, неподвижных глаза смотрели на меня и чего-то ждали.

— Это детский эшелон? — спросил Огородников. Холод колотил мальчишку, и я услышала, как у него стучали зубы.

— Детский.

— Вот привел малюго.

Первым моим порывом было желание пригласить их в вагон, но тут в моей памяти прорезался скрипучий голос Фазана: «Проявляй бдительность!» Я попробовала проявить.

— Сюда нельзя, — как можно резко сказала я, хотя испытывала жалость к этим двум беспризорным фигурам: мне показалось, что за пределами вагона бушует море и эти двое ухватились за поручень, как за единственное спасение.



— Сюда нельзя, — автоматически повторила я, помимо своей воли.  
— Малой простыл совсем, — сказал Огородников, — так он и заболеть может.

Меня снова поразил его голос: грудной, волнующий. Его хотелось слушать, как хочется смотреть в красивые глаза.

— Разве вам некуда деться? — спросила я.

— Тут эшелон с беженцами разбомбили, — сказал солдат. — Мальчонка затерялся.

Я вздохнула и сдалась. Не смогла проявить бдительность.

— Идемте!

Солдат тут же подхватил мальчика под мышки и поставил на высокую ступеньку вагона, а потом ловко забрался сам.

И когда они шли впереди меня, я видела, как темная от дождя шинель липнет к спине солдата, а мальчик держался за край шинели, как за мамин подол.

К этому времени закипел чай. Я налила неожиданным гостям по стакану и достала три припрятанных кусочка сахара. Они сидели в моем купе и, обжигаясь, пили чай, при этом грели о граненые стенки стакана руки, а мальчик прижимался к стакану посиневшим носом.

У мальчика оказались неестественно большие серые глаза. В них не было ни печали, ни слез, какая-то странная сосредоточенность застыла в глубине, и, когда он отрывал глаза от стакана и смотрел на меня, мне казалось, что от него ничего нельзя утаить.

Он выпил чай, отогрелся, и я спросила:

— Ты откуда?

— Ниоткуда! — это были первые слова, произнесенные им.

— А куда ты едешь?

— Никуда!

— Чей ты?

— Ничей!

Казалось, он не отвечал, а отбивался от моих вопросов.

— Ну, кто же ты? — спросила я без всякой надежды, зная, что маленький инкогнито сейчас выдохнет короткое, сердитое «никто». Но глаза мальчика неожиданно потеплели, и он назвал:

— Женечка!

От этого «Женечки» повеяло чем-то довоенным, домашним. Я сразу почувствовала, что у него был дом, была мама... Все было... И ничего не стало.

Горячий чай разморил мальчика. Глаза закрылись. Он уронил голову на грудь. А потом повалился на бок и уснул, припав к моей подушке.

Только тогда я впервые посмотрела на солдата. Он был среднего роста, неширок в плечах. У него были светло-синие глаза. И нежное, еще не обветренное, не обожженное холодами лицо. Видимо, он совсем недавно стал солдатом, и от него еще веяло домом.

И мне показалось, что оба моих неожиданных гостя — участники какого-то странного, недоброго маскарада: один вырядился в женскую коф-

ту и надел летнюю панаму, другой натянул на себя чужую солдатскую шинель. На самом же деле оба они совсем другие. Из другого мира.

Огородников снял мокрую пилотку, и оказалось, что волосы у него пострижены коротко, под машинку, или, как тогда говорили, «под нулевой номер».

— Уснул, — сказал он, кивнув на Женечку. — В их эшелоне пять вагонов сгорело. Не пойму, как он выбрался живым.

— У нас тоже убило девочку... осколком, — отозвалась я, вспомнив дочь разнорабочей Чудиной.

— Сейчас везде убивают, — заключил Огородников. — Война.

В то время слово «война» объясняло все человеческие беды — болезни, голод, неустройство, отсутствие крыши над головой, тепла, одежды, книги... Объясняло и оправдывало. Но разве кому-нибудь становилось легче от этого оправдания.

— А тебя как зовут? — неожиданно спросил Огородников, не спрашивал, не спрашивал и вдруг спросил.

— Алевтина.

— Алевтина, — повторил он, и его голос как бы изменил мое привычное имя, оно зазвучало, как новое. Я подумала: какое у меня красивое имя.

А Женечка крепко спал. Его большие, серьезные, как у взрослого, глаза были закрыты, и он снова превратился в ребенка. Во сне не было объясняющего все беды слова — война.

На верхней полке проснулась моя сменщица, сбросила одеяло и села, свесив белые, полные ноги. Она сладко потянулась и вдруг, увидев солдата, вскрикнула и закрылась с головой.

— Я пойду, — сказал Огородников. — Вечером зайду, проведаю Женечку.

И вдруг я почувствовала, что мне не хочется его отпускать, хочется, чтобы рядом звучал его голос, и чтобы все вокруг спали, и чтобы моя сменщица не высовывала из-под одеяла свою белую руку с ямочкой под локтем.

Я проводила Огородникова до двери. И долго смотрела, как он, смешно прыгая с рельса на рельс, спешил к своему эшелону.

После всех этих происшествий я так утомилась, что едва приклонила голову — сразу заснула. Мне ничего не снилось, и я не знала, как долго была погружена в сон. Проснулась я от незнакомого детского голоса.

— Дядя, почему тебя называют Фазаном?

Я не успела сообразить, кому принадлежит этот голос, как совсем близко прозвучал скрипучий голос коменданта:

— Откуда чужой ребенок?

— Он не чужой, — ответила моя сменщица.

— Тогда чей он? Кто его родители? Из какого цеха? Фамилия? Имя?

— Я — Женечка! — представился мальчик.

— Тебя не спрашивают, — отрезал Фазан. — Чей это ребенок?

Теперь я уже окончательно проснулась и восстановила в памяти картину появления Женечки. Длинная женская кофта, не по сезону легкая белая панама...

— Этот ребенок мой, — решительно произнесла я и села, закрывшись до подбородка одеялом.

— Откуда у тебя ребенок?

— Разве я не могу иметь ребенка?

Глаза Фазана яростно блеснули. Он молчал, словно от ярости потерял дар речи.

— Почему не подала в завком заявление? — наконец выдал из себя Фазан. — Твоего ребенка кормить не буду!

Он дернул кепку за козырек и пошел прочь.

Только удушающий запах камфорного масла еще держался в купе.

Огородников пришел, когда стемнело и мой многоголосый вагон уgomонился, затих, а моя сменщица забиралась на вторую полку, и ее до утра не стало.

Он бросил в окно камешек, а я заторопилась к двери.

Я ждала его весь день и, сама не понимая почему, мучительно боялась, что он раздумает и не придет. Но он не раздумал, пришел.

— Наш эшелон простоит еще сутки, — сообщил он, заходя в мое купе. — Раньше суток мост не восстановят.

— А наш... эшелон?

— Ваш? Детский? Сперва восстановят мост. Потом примутся за ваш путь. Мы сейчас попали в мышеловку.

Огородников тихо засмеялся.

— Ты, наверное, хочешь закурить, Огородников? — предложила я и вдруг почувствовала, что мне приятно называть его по фамилии, а не по имени, которого я, кстати, не знала.

— Я не курящий, — ответил гость.

— Почему от тебя табаком пахнет?

— Так махорку всем выдают. Что с ней делать? Вот и курю... просто так.

— Не кури, раз не хочешь.

— Нельзя!

— Заставляют? — Я сочувственно заглянула ему в глаза.

— Да нет! Когда подают команду «перекур», все бросают работу и закуривают. А если не куришь — вкалывай! Понимаешь?

— Понимаю, — кивнула я, хотя не очень-то поняла его солдатскую хитрость.

Так мы сидели на нижней полке и разговаривали о разной чепухе. И то, о чем мы говорили, не имело никакого отношения к тому, что мы чувствовали.

Неожиданно он положил руку мне на колено. И я не убрала его руку — вспыхнула и покраснела не только лицом, но и всем телом.

Каким-то образом его стриженная голова очутилась около моей щеки, и меня волновало ее легкое, приятное покалывание. Постепенно

я забыла про свой пост, про своих детишек, про Женечку, про свою напарницу, которая спала наверху, откинув белую руку.

В купе было темно, и мы с Огородниковым не видели друг друга.

Я не помню, когда стянула с себя шерстяное платье. Скорее всего, одежда — эта грубая, мешавшая нам оболочка растаяла, растворилась в воздухе, и осталось одно откровение — огромное, радостное, ночное...

Я проснулась от резкого, как выстрел, хлопка дверью. Еще не открывая глаз, почувствовала запах камфорного масла. И с опаской открыла глаза. Передо мной, в дверях купе стоял Фазан. Его черные, обведенные красными ободками глаза горели злобой. Он стоял, засунув кисти рук за широкий командирский ремень и вызывающе смотрел на меня... Вернее на нас. Он стоял молча, видимо, стараясь подобрать побольнее слово. Но и само молчание коротышки Фазана было злым, бьющим, причиняющим боль.

Я вскрикнула и села, закрывшись до подбородка шинелью Огородникова. Шинель была новой и колола шею острыми ворсинками.

— Спишь, — наконец выдавил из себя слово Фазан. — С посторонним?

Я не улавливала смысла его слов. Но мне мучительно захотелось, чтобы он ушел, словно он стоял прямо с ногами... на постели, на которой спал Огородников. Мой милый Огородников.

Теперь Фазан понял, почувствовал, что само его присутствие для меня оскорбительно, что я перед ним беззащитна, хотя рядом со мной был мой защитник.

Двум молодым людям война подарила нечаянную радость... Выделила им из своего неприкосновенного запаса одну ночь без тревог, взрывов, атак, смерти. А Фазан отнимал у них эту бесценную кроху.

— Уйдите! — наконец сказала я.

— Кто «уйдите»? Я «уйдите»? — проскрипел он. — Я уйду. Я сейчас вернусь с комендантом воинского эшелона. А с тобой, Алевтина, мы поговорим отдельно.

И тут я не выдержала. Вскочила на ноги, шинель упала на пол, но я не нагнулась за шинелью и, забыв о стыде, с силой рванула дверь. И она захлопнулась перед носом Фазана.

Фазан сразу исчез, только запах камфорного масла держался в воздухе.

Я стала будить своего друга.

— Вставай! Вставай, Огородников!

Он открыл глаза и в первую минуту очень удивился, увидев меня. Я была уже одета, а он лежал в нижней рубаше с завязочками вместо пуговиц на груди.

— Огородников, милый, уходи скорее... Фазан пошел за комендантом.

Я подумала, он испугается, но мои слова не произвели на него никакого впечатления. Он потянулся, сел и медленно стал одеваться.

А сменщица спала на верхней полке счастливым, непроницаемым сном.

— Плевать на Фазана, — приговаривал мой друг, натягивая тесный сапог. — Сейчас сбегаю в эшелон... у меня в вещмешке есть и энзэ... Принесу Женечке поесть.

Он был спокоен. И его спокойствие постепенно передалось мне. Я проводила его до двери и стала наблюдать из окна, как, неловко перепрыгивая через рельсы, он побежал к своему эшелону.

Через некоторое время он вернулся и крикнул:

— Моего энзэ нет, сперли... Но я что-нибудь придумаю.

И тут он заметил очередь за кашей. Плотный повар в белом халате, натянутом поверх шинели, накладывал солдатам кашу большим половником, который в армии называют разводящей. Солдаты подставляли котелки, миски, у кого что было, и повар одаривал их дымящейся пшенной кашей. Один боец подставил пилотку — в нее была положена порция каши.

Тут к очереди подошел Огородников.

— Что у тебя? — спросил повар.

А у него ничего не было. Даже пилотки. И тогда он протянул повару две руки, сложенные корабльком.

— Сыпь! Руки чистые!

— Обожжешься?

— Что? — Огородников непонимающе посмотрел на повара.

— Руки, говорю, обожжешь.

Огородников усмехнулся и снова сказал:

— Сыпь!

И повар положил ему в пригоршню полную разводящую каши.

Я помню, как он держал в руках кашу... Она была цыплячьего цвета, и от нее веяло теплом. И пахло не едой, а перегретой на солнце соломой. Словно повар зачерпнул в термосе не порцию солдатской каши, а нечто иное... Все военное было жестким, холодным, причиняющим боль, а каша была мягкой, мирной, совсем не военной.

На какое-то мгновение Огородников повернулся в мою сторону, и я увидела, что у него счастливое лицо. Он был так счастлив, словно ему удалось добыть для Женечки полную пригоршню золота, а не обыкновенной пшенной каши. Каша, конечно, нещадно жгла ладони, но сознание того, что сейчас он досыта покормит Женечку, заглушало боль.

И вдруг где-то совсем близко раздался истошный крик:

— Воздух!

Этот крик остановил Огородникова. Он болезненно поморщился и посмотрел в небо.

И почти в то же мгновение стали бить в рельс тревогу. И в небе появился фашистский самолет. Он летел низко над путями, напоминая большую, окутанную густым жужжанием пчелу.

В следующее мгновение небо сделалось железным. И самолет с мерным грохотом стал бить по этому железному небу. И алые огоньки трассирующих пуль пунктиром потянулись к земле.

Не отрывая глаз от неба, Огородников сделал несколько шагов и вдруг упал, словно загляделся и споткнулся о рельс. Падая, он разнял руки, как бы разделил порцию каши на две части.

Я смотрела в окно и ждала, когда он поднимется и побежит дальше. Но он медлил. Тогда я оторвалась от окна, спрыгнула с высокой подножки вагона и направилась к нему.

Огородников лежал на путях, уткнувшись лицом в бурый пристанционный песок. Одна рука, согнутая в локте, держалась за рельс, другая, вытянутая, была повернута ладонкой вверх и в ней маленькой горкой золотилась пшенная каша, которую он нес Женечке. Каша еще не остыла, от нее шел пар и пахло перегретой на солнце соломой. И оттого, что каша была теплой, Огородникова невозможно было представить себе мертвым. Просто он споткнулся о рельс, упал и сейчас поднимется и побежит дальше.

Я стояла рядом и бессмысленно ждала этого мгновения, хотя где-то в глубине моего сознания уже выкристаллизовывалась жестокая правда: не поднимется он, не побежит. Но от того, что он даже мертвый сохранял кашу для осиротевшего мальчика Женечки, мое сердце сжималось от боли. Откуда-то из-под вагона вынырнул Фазан и уставился на лежащего красноармейца холодными глазами с красными ободками. Кажется, он не жалел погибшего, а продолжал сердиться на него. Хотя самому Огородникову было уже безразлично, ругают его или жалеют.

В какое-то мгновение в Фазане проснулось что-то человеческое, и он стянул с головы фуражку с квадратным козырьком.

Появились солдаты с носилками, подняли Огородникова, положили на брезентовое ложе. И унесли.

А я продолжала стоять на месте, словно мне приснился страшный сон и я терпеливо ждала пробуждения.

Я очнулась от того, что кто-то потянул меня за подол. Оглянулась. За моей спиной стоял Женечка. В длинной женской кофте, в белой панамке. Большие глаза смотрели на меня сосредоточенно строго, словно ждали от меня отчета, что произошло на станционных путях.

Но какой отчет я могла дать Женечке!

— Идем, — сказала я и протянула мальчику руку.

— Огородников придет после? — спросил он.

Я кивнула. И мы зашагали к своему вагону.

Мы ехали в тыл две недели. Это были трудные, жестокие недели. До сих пор ночами мне мерещатся жесткая поступь колес, заунывная, похожая на стон песня рельсов и пламя свечи, похожее на крыло пойманной бабочки.

Все эти дни Женечка не отходил от меня и поминутно спрашивал:

— Где Огородников? Почему не идет Огородников?

Даже ночью, просыпаясь, вспоминал своего друга. Он не вспоминал маму, родной дом, своих близких, словно в жизни у него был только Огородников.

Я все больше привязывалась к Женечке, а Огородников, погибший на станционных путях солдатик, не отдавал мне мальчика. И я теперь думала о нем с обидой и неприязнью, хотя он ни в чем не был виноват.

Нас приютили в сибирском городе, в мрачном рубленом доме, в котором на ночь запирались тяжелые ставни, и дом превращался в крепость.

Однажды ночью я задремала. Меня разбудили тихие шаги. Я открыла глаза — передо мной стоял Женечка, одетый, застегнутый на все пуговицы.

— Женечка?!

— Я ухожу,— спокойно сказал мальчик.— Меня ждет Огородников.

— Куда ты пойдешь! — Я всплеснула руками.

— На вокзал.

Он произнес эти слова так уверенно, словно ему не впервой было отправляться на вокзал, а главное, он знал, где искать Огородникова.

Я растерялась, не знала, как удержать его. В какой-то момент у меня появилась решимость сказать Женечке правду про Огородникова. Но я вдруг поняла, что он не поверит мне, что живет он своей правдой, упорной и справедливой.

— Сейчас ночь,— безнадежно сказала я.

— Поезда ходят и ночью,— ответил Женечка.

— Тогда я пойду с тобой!

Я действительно была полна решимости идти за ним хоть на край света. Но он вдруг оглянулся, обвел долгим взглядом спящих товарищей и сказал:

— А как же они... без тебя?

— Я не могу отпустить тебя одного,— твердо ответила я.

Теперь задумался Женечка. Потом он решил:

— Ладно. Подожду до утра.

Утром он забыл о ночном происшествии.

Он не мой! Не мой! Чей же он, Женечка, если его Огородникова нет, не существует Огородников. Я не находила ответа на этот вопрос, но чувствовала, что моя любовь к Женечке всегда будет неразделенной. И это причиняло мне страдания.

Шел последний год войны. И как в конце зимы начинает веять весной, так повеяло скорой победой. Сердца отторгнутых от дома людей стали сильнее рваться к родным пенатам.

Не были дома сто лет.

Однажды ночью в дверь детского сада постучались. Я открыла. На пороге стоял солдат. Лицо его невозможно было разглядеть. Он был просто солдатом и пахло от него солдатом — мокрой шинелью, табаком и сапожной мазью.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте!

— Я увидел свет и постучал, — сказал незнакомый солдат.

В его голосе я почувствовала какую-то неуверенность, и это расположило меня к нему.

— Тебе негде переночевать?

— Негде.

Что-то дрогнуло в бдительном ночном страже, я сказала:

— Заходи, коли так.

Он долго вытирал ноги, а потом снял и на крыльце отряхнул мокрую шинель.

— Вообще-то здесь не положено быть посторонним, — сказала я больше для самоуспокоения, чем для гостя. — Я положу тебя в прихожей на диване.

Он промолчал. Потом повернулся и долго смотрел на меня:

— Не узнаешь?

Я покачала головой.

— Неужели ты не помнишь меня?

— Кто ты?

— Огородников!

— Огородников! Тебя же убили, — вырвалось у меня, — как же так.

— На войне не только умирают, но и воскресают, — ответил он. — Здравствуй, Аля!

Он очень изменился: лицо погрубело, губы потрескались, у рта появились две глубокие морщинки, даже голос утратил прежнее грудное звучание, стал грубым, хрипловатым, чужим.

Погиб один Огородников, а воскрес совсем другой. Ласковый, не обожженный войной юноша остался на пристанционных путях, с пригоршней теплой пшенной каши. Я простилась с ним, оторвала его от сердца. И, глядя на неожиданного ночного гостя, я совершенно отчетливо почувствовала: на войне он, может быть, и воскрес, но в моем сердце никакого воскрешения не произошло. Я не почувствовала радости, напротив, отчетливо поняла, что на меня надвигается беда: не я ему нужна, а Женечка. И опасно поглядывая на Огородникова, как удара, ждала, когда он спросит о Женечке. И он спросил:

— Где Женечка?

— Здесь!

Огородников облегченно вздохнул.

Ах, какую ошибку я совершила в ту минуту! Надо было врать, врать впрямую, безжалостно врать: нет Женечки, нашлась его мать, приехала, увезла! И вообще надо проявлять бдительность! И нечего пускать в детский садик — в святую святых — посторонних. Но тогда была война, и че-



ловека в военной форме никто не считал посторонним. Тогда была война, и я не могла соврать солдату — это было бы низко, недостойно уважающего себя человека.

— Покажи мне Женечку!

Я почувствовала, как Огородников сразу оживился: спешил сюда с надеждой, и надежда не обманула его.

— Он спит, — сказала я, стараясь оттянуть его встречу с мальчиком.

— Все равно покажи.

— Идем, — наконец сказала я. — Он очень вырос, изменился.

Я пошла впереди, а он, чтобы не наследить и не греметь сапожищами, снял их и в носках последовал за мной.

— Вот он.

Огородников замер. Долго он рассматривал мальчика, при этом лицо его было неподвижным, жесткие складочки у рта стали глубже.

А я стояла рядом и ждала его решения.

— Я возьму его, глазастого, — наконец сказал Огородников.

— Он мой! — вырвалось у меня.

— Твой? Почему он твой? Разве ты ему мать?

— Но ведь ты тоже не отец, — парировала я.

Огородников ответил не сразу. Он поднял на меня усталые глаза и сказал:

— У тебя их вон сколько, а у меня никого. В целом мире никого! Я один-одинешенек. Три ранения. Инвалид второй группы.

Он окончательно сразил меня. Я уже не могла возразить ему, не могла постоять за себя.

— Пусть Женечка решит сам, — тихо сказала я, хотя заранее знала, как решит Женечка.

Когда в тот день, после налета фашистского штурмовика на забытых эшелонами путях я навсегда попрощалась с Огородниковым, Женечка сказал «до свидания». И с тех пор всю войну думал об Огородникове, ждал его, сам порывался отправиться на поиски. Он честно завоевал свое право на Огородникова.

Утром они уехали. Уехали навсегда, в неизвестном направлении.

Но каждую ночь на своем тихом посту я внимательно прислушиваясь не только к дыханию детей, не только к их невнятному бормотанию, я жду, что кто-то постучит в дверь и из темноты мне навстречу шагнет мужчина:

— Я — Огородников, младший, здравствуйте, тетя Аля.

## СОДЕРЖАНИЕ

Вечеринка . . . . .	3
Где цветет гвоздика . . . . .	13
Упрямая Росица . . . . .	24
Ночная няня . . . . .	34

Юрий Яковлевич ЯКОВЛЕВ

ГДЕ ЦВЕТЕТ ГВОЗДИКА

*Рассказы*

Редактор М. М. Жигалова

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

---

Сдано в набор 08.08.88. Подписано к печати 27.09.88. А 11790 Формат 70 × 108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл.  
кр.-отт. 2,28. Учетно-изд. л. 3,30. Тираж 150 000 экз. Заказ № 2891. Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Лени-  
на издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



## **МОЛОДЕЖНЫЕ ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ**

- Такие вклады принимаются от граждан в возрасте от 18 до 30 лет включительно.
- При открытии счета вкладчик молодежного премиального вклада определяет размер ежемесячного взноса — 10, 20, 30, 40 или 50 рублей. Первоначальный взнос на одну из указанных сумм принимается наличными деньгами только от самого вкладчика по предъявлении им паспорта.
- Накопление вклада производится в течение трех лет путем регулярных ежемесячных взносов. Такие взносы могут перечисляться по заявлению вкладчика бухгалтерией по месту его работы или учебы. Дополнительные взносы по вкладу принимаются и наличными деньгами.
- По молодежным премиальным вкладам вкладчики получают доход из расчета 3,5% годовых, из которых 2% ежегодно присоединяются к остатку вклада, а 1,5% — выплачиваются в виде премии по истечении срока накопления сбережений.
- Юноши и девушки, пользуйтесь услугами учреждений Сберегательного банка СССР!